

Дойл. К



**ТЕНЬ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА
ДЯДЯ БЕРНАК**

ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

История в романах

Артур Конан Дойл

**Тень великого человека.
Дядя Бернак (сборник)**

«Алгоритм»

УДК 821.111
ББК 84(4Вл)

Дойл А.

Тень великого человека. Дядя Бернак (сборник) / А. Дойл —
«Алгоритм», — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03746-7

Артур Конан Дойл (1859–1930) – всемирно известный английский писатель, один из создателей детективного жанра, автор знаменитых повествований о Шерлоке Холмсе. Между тем прославленный сыщик не слишком пользовался расположением самого писателя. Гораздо большее значение придавал Конан Дойл своим историческим произведениям. Два из них публикуются в этом томе. Фабула романа «Тень великого человека» в немалой степени загадочна. 1814 год. Звезда Наполеона Бонапарта, кажется, окончательно закатывается, и вся Англия с нетерпением ждет известий о мире. Именно в этот момент в небольшом поселке на границе Англии и Шотландии появляется неизвестный человек, француз по национальности, обладающий немалой суммой денег и, видимо, стремящийся скрыть какие-то тайны своего прошлого... Роман «Дядя Бернак» также повествует о событиях времен наполеоновских войн. Идет 1805 год. Луи де Лаваль, сын французского аристократа, эмигрировавшего в Англию после революции, получает письмо от своего дяди, в котором тот предлагает родственнику вернуться на родину и поступить на службу к императору Наполеону. Тайно высадившись на французский берег, де Лаваль внезапно оказывается замешан в историю с заговором против монарха и понимает, что его дядя связывает с ним какие-то свои тайные планы.

УДК 821.111

ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-03746-7

© Дойл А.
© Алгоритм

Содержание

Тень великого человека	7
Глава I. Ночь, в которую горели сигнальные огни	7
Глава II. Кузина Эди из Айемауса	13
Глава III. Тень на море	18
Глава IV. Выбор Джима	23
Глава V. Человек, прибывший к нам из-за моря	28
Глава VI. Странствующий орел	33
Глава VII. Сторожевая башня в Корримюре	36
Глава VIII. Прибытие катера	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Артур Конан Дойл
Тень великого человека. Дядя Бернак

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

Тень великого человека

Глава I. Ночь, в которую горели сигнальные огни

Мне, Джеку Кольдеру из Вест-Инча, кажется странным, что хотя теперь, в середине девятнадцатого столетия, мне только пятьдесят пять лет и моя жена не больше одного раза в неделю вырывает у меня немножко седых волос над ухом, но я жил в такое время, когда образ мыслей и поступки людей так отличались от современных, как будто бы я жил на другой планете, потому что, когда я хожу по своим полям, я могу видеть вдаль, на Бервикской дороге, небольшие клубы белого дыма, что указывает мне на то, что по границе, отделяющей Шотландию от Англии, постоянно движется это странное, невиданное прежде, стоногое чудовище, питающееся углем и содержащее в своем чреве до тысячи человек людей. В ясный день я могу видеть, как блестит на нем медь, когда оно поворачивается в сторону близ Корримюра; а потом, когда я посмотрю после этого на море, то и там вижу точно такое же чудовище, и даже не одно, а несколько их сразу; они оставляют за собой черный след в воздухе и белый на воде и плывут против ветра так свободно, как лосось по Твиду. Если бы мой отец увидал все это, то он онемел бы как от гнева, так и от удивления, потому что он до такой степени боялся оскорбить Творца, что никогда не шел против природы и всегда считал все новое чуть ли не богохульством. Так как лошадь создал Бог, а локомотив,двигающийся по Бирмингемской дороге, – человек, то мой добрый старый отец ни за что не оставил бы седла и шпор.

Но он удивился бы еще более, когда увидал, что теперь царствуют в сердцах людей мир и благоволение, в газетах печатают и на митингах говорят о том, что теперь не будет больше войны, разумеется, за исключением войны с чернокожими и другими подобными народами, потому что когда он умер, у нас была война, продолжавшаяся почти четверть столетия с кратким перерывом только на два года. Представьте себе это вы, которые живете теперь так мирно и спокойно! Дети, родившиеся во время войны, выросли, обросли бородой, и у них самих родились дети, а война все продолжалась. Те, которые служили в армии и бились с врагами, будучи крепкими молодыми людьми, сделались неповоротливыми и согнулись, а война все не прекращалась и на море и на суше. Неудивительно, что люди привыкли считать такое положение вещей нормальным и думали, что мирное время – это что-то неестественное. В течение этого долгого времени мы воевали с голландцами, с испанцами, с турками, с американцами, с монтевидеанцами, так что, казалось, при этой всеобщей войне не было родственных или совсем не состоящих между собой в родстве наций, которые не были бы вовлечены в эту борьбу. Но главным образом мы воевали с французами, и великий военачальник, предводительствовавший ими, был таким человеком, которого мы ненавидели, но в то же время боялись и восхищались им.

Его могли изображать на картинах, петь в честь него песни или представлять его самозванцем, но я скажу вам одно – этого человека так боялись, что над всей Европой висела точно какая-то грозная туча, и было такое время, когда ночью, заведя огонь на берегу, все женщины падали на колени и все мужчины хватались за свои ружья. Он всегда оставался победителем – вот почему он и наводил на всех такой ужас. Казалось, что не он подчиняется судьбе, а она ему. А теперь мы знали, что он находится на северном берегу; у него было сто пятьдесят тысяч человек старых солдат и суда для переправы. Но всем и каждому известно, что одна треть взрослого населения нашей родины взялась за оружие, и наш маленький одноглазый и однорукий военачальник уничтожил их флот. В Европе еще оставалась одна страна, в которой могли свободно мыслить и говорить.

На холме, около устья реки Твида, был приготовлен костер для сигнального огня – он был сложен из бревен и смоляных бочек; я хорошо помню, как я каждую ночь напрягал зрение, вглядывался в темноту и ждал, не загорится ли костер. В то время мне было только восемь лет, но это такой возраст, когда ребенок понимает, что значит горе, и мне казалось, что судьба моей родины зависит от меня и от моей бдительности. И вот как-то раз ночью, когда я смотрел таким образом, я вдруг увидел, что на сторожевом холме загорелся огонек. Это был язык пламени, ясно видимый в темноте. Я помню, как я тер себе глаза, щипал себя и стучал суставами пальцев по каменному подоконнику для того, чтобы убедиться, что все это я вижу наяву. Затем пламя разгорелось сильнее, и я увидел на воде красную дрожащую полосу; я бросился из кухни к отцу с криком, что французы переплыли канал и что при устье Твида горит сигнальный огонь. Отец разговаривал в это время с мистером Митчеллем, студентом-юристом из Эдинбургского университета, и я точно теперь вижу, как он выбил золу из своей трубки об угол камина и посмотрел на меня через свои очки в роговой оправе.

– Да верно ли это, Джек? – сказал он.

– Верно, как смерть, – ответил я, задыхаясь.

Протянув руку, он взял со стола лежавшую на нем Библию и, положив ее себе на колени, раскрыл, как будто намереваясь прочесть нам что-нибудь; но затем он опять закрыл ее и поспешно вышел из дома. Мы, то есть студент-юрист и я, пошли также и шли за ним до ворот, выходящих на большую дорогу. Отсюда мы могли видеть красное пламя огромного сигнального огня и другой огонь, поменьше, горевший на севере от нас, в Эйтоне. К нам пришла и мать, которая принесла два пледа, чтобы защитить нас от холода, и мы простояли тут вплоть до утра; мы говорили очень мало между собой и шепотом... По дороге проезжало теперь гораздо больше народу, чем ночью накануне, потому что многие крестьяне-собственники из нашей местности записались в бервикские полки добровольцев и теперь мчались во весь опор на смотр. Некоторые из них перед отъездом выпили на прощание стакан или два вина, и я не могу забыть одного из них, который промчался мимо нас на большой белой лошади, махая огромной заржавевшей саблей при лунном свете. Проезжая мимо нас, они кричали, что горит северный Бервикский сигнальный огонь и думают, что тревога идет из Эдинбургской крепости. Некоторые из всадников ехали галопом в другом направлении – это были курьеры, посланные в Эдинбург, а также сын лендлорда и мастер Клейтон, помощник шерифа, и некоторые другие. В числе прочих был один человек прекрасного сложения, довольно полный, он ехал на саврасой лошади и, подъехав к нашим воротам, спросил что-то насчет дороги. Он снял с головы шляпу, чтобы освежиться, и тут я увидел, что у него было длинное лицо с добрым выражением и высокий большой лоб, выступавший вперед и окаймленный прядями рыжих волос.

– Я полагаю, что это ложная тревога, – сказал он. – Может быть, я сделал бы лучше, если остался на месте; но теперь, когда я отъехал так далеко, я позавтракаю вместе с полком. – Он пришпорил свою лошадь и поехал вниз по склону.

– Я хорошо его знаю, – сказал студент, указывая на него движением головы. – Он эдинбургский адвокат и мастерски пишет стихи. Его зовут Ватт (Вальтер) Скотт.

В то время никто из нас не слышал этого имени; но это было незадолго до того, как его имя сделалось самым популярным во всей Шотландии, и мы не раз вспоминали о том, что он в эту ужасную ночь спрашивал у нас, как проехать. Но на рассвете мы совсем успокоились. Было пасмурно и холодно, и мать пошла домой, чтобы заварить нам чаю; вдруг на дороге показался кабриолет, в котором сидели доктор Хорскрофт из Эйтона и сын его Джим. Воротник коричневого пальто доктора был поднят кверху и закрывал ему уши; он был, по-видимому, в самом мрачном настроении, потому что Джим, которому было всего только пятнадцать лет, как только поднялась тревога, сейчас же отправился в Бервик, захватив с собой новое охотничье ружье отца. Отец догонял его всю ночь, и теперь он был пленником, и сзади него торчал

ствол украденного им ружья. У него был такой же угрюмый вид, как и у его отца; он засунул руки в карманы, нахмурил брови и выпятил нижнюю губу.

– Все это ложь! – закричал громким голосом доктор, проезжая мимо нас. – Не было никакого десанта, а между тем все глупые люди в Шотландии шатаются по дорогам, сами не зная для чего.

Услышав такие слова, его сын, Джим, огрызнулся, а отец так ударил его по голове своим кулаком, что мальчик ударился подбородком о грудь, как будто бы он был оглушен. Мой отец покачал головой, потому что он любил Джима; но мы все пошли опять в дом, дремля и мигая глазами; теперь, когда мы узнали, что не было никакой опасности, у нас смыкались глаза, но вместе с тем было так весело на душе, как бывало со мной после этого, может быть, только раз или два во всю жизнь.

Впрочем, все это почти не имеет никакого отношения к тому, о чем я хочу рассказать моим читателям; но когда у человека хорошая память, а умения мало, то у него к одной мысли прицепляется до дюжины других. Но, впрочем, теперь, когда я вспоминаю обо всем случившемся, я вижу, что это имеет некоторое отношение к тому, что будет сказано дальше, потому что Джим Хорскрофт так поссорился со своим отцом, что тот отправил его в Бервикскую академию, а так как мой отец давно хотел послать меня туда же, то он и воспользовался этим случаем.

Но прежде чем я скажу несколько слов об этом учебном заведении, я вернусь к тому, с чего бы я должен был начать, и дам вам некоторое понятие о себе, – кто я такой, потому что моя книга может быть прочитана и людьми, живущими за пограничной областью, которые никогда не слыхали о Кольдерах из Уэст-Инча.

Уэст-Инч! Слова эти звучат очень громко, но нельзя сказать, что это – красивое имение, в котором был бы хороший дом; оно состояло только из обширного овечьего выгона с выщипанной травой, по которому свободно гулял ветер и который местами спускался до самого морского берега; это было такое имение, в котором человек, живущий умеренно, должен был работать не покладая рук только для того, чтобы заплатить поземельный налог и иметь по воскресеньям масло вместо патоки. Посредине стоял серый каменный, крытый черепицей дом, позади которого находился скотный двор, а над дверной притолокой была высечена на камне цифра 1703. Здесь более ста лет жили наши родные, которые, наконец, несмотря на свою бедность, заняли видное место среди местных жителей, потому что в деревне часто старый йомен пользуется большим уважением, чем давно поселившийся лендлорд.

Наш дом в Уэст-Инче был очень замечательным в одном отношении: землемеры и другие сведущие люди вычислили, что пограничная линия между двумя странами проходит как раз посредине него и разделяет одну из наших спален на две половины – английскую и шотландскую. А кровать, на которой я всегда спал, была поставлена так, что моя голова приходилась на север от пограничной линии, а мои ноги – на юг от нее. Мои приятели говорят, что если бы моя кровать была поставлена иначе, то у меня не было бы таких рыжих волос и мой ум не отличался бы таким серьезным направлением. Сам же я знаю только одно, что не раз в моей жизни, когда мой шотландский ум не мог придумать средства избавиться от опасности, меня выручали в этом случае мои здоровые, крепкие английские ноги, и они избавляли меня от беды. Но в школе мне постоянно напоминали об этом, потому что называли меня «половиной наполовину» или «Великобританией», а иногда «английским флагом». Когда происходило сражение между шотландскими и английскими мальчиками, то одна сторона била меня по ногам, а другая давала мне пощечины, а затем обе стороны переставали меня бить и хохотали, как будто бы тут было что-нибудь смешное.

Сначала я чувствовал себя очень несчастным в Бервикской академии. Бертуистль был у нас старшим учителем, а Адамс – младшим, но я не любил ни того ни другого. Я был робок и вял от природы, не умел расположить к себе учителей и подружиться с мальчиками. По

прямой линии, как летает ворона, от Бервика до Уэст-Инча было девять миль, а если ехать по дороге, то одиннадцать с половиной, и я тосковал, потому что был так далеко от матери. Заметьте, что в этом возрасте мальчик говорит, будто он не нуждается в ласках матери, но как грустно делается ему, когда его поймают на слове! Наконец, пришло такое время, когда я не мог больше выносить этого, – я решил бежать из школы и как можно скорее добраться до дома. Но в самую последнюю минуту мне удалось заслужить всеобщую похвалу и удивление всех и каждого, начиная от старшего учителя и кончая последним слугой, так что жизнь в школе сделалась для меня приятной; мне стало жить легко, и все это благодаря тому, что я случайно упал из окна второго этажа.

Вот как это случилось. Однажды вечером меня ударил ногой Нед Бертон, который был первым забиякой у нас в училище, и эта обида в соединении с другими огорчениями переполнила чашу моих страданий. В эту ночь я, спрятав под одеяло мое заплаканное лицо, поклялся, что на следующее утро буду находиться если не в Уэст-Инче, то на дороге к нему. Наш дортуар был в бельэтаже, но я отлично умел лазить, и на большой высоте у меня не кружилась голова. Хотя я был еще очень юным, но в Уэст-Инче мне ничего не стоило, привязав себе к бедру веревку, спускаться вниз с вершины крыши, которая была на высоте тридцати пяти футов от земли. Поэтому мне нечего было бояться, что я не выберусь из дортуара Бертуистля. Я ждал, пока ученики перестали кашлять и ворочаться на своих постелях, и это ожидание показалось мне очень долгим; наконец, все заснуло на деревянных кроватях, которые стояли длинным рядом; тогда я потихоньку встал с постели, кое-как оделся, взял сапоги в руку и подошел на цыпочках к окну. Отворив окно, я выглянул из него. Подо мной был сад и близко ко мне толстый сук груши, который я мог достать рукой. Для ловкого мальчика это могло служить самой лучшей лестницей. Если бы я попал в сад, то мне нужно было только перелезть через стену, имевшую пять футов вышины, а затем меня отделяло бы от дома одно только расстояние. Крепко ухватившись одной рукой за сук, я уперся коленом в другой и уже совсем хотел вылезть из окна, как вдруг я остановился и как будто окаменел. Из-за стены на меня смотрело какое-то лицо. Я был поражен страхом, увидя, до чего оно бледно и неподвижно. Оно было освещено луной, и глаза его медленно двигались, озираясь вокруг, но я был скрыт от них листвою грушевого дерева. Затем это бледное лицо поднялось вверх, точно его что-нибудь подтолкнуло, и, наконец, показались шея, плечи и колени мужчины. Сев на стену, он с большим усилием поднял вверх вслед за собой какого-то мальчика, одинакового со мною роста, который от времени до времени тяжело вздыхал, как будто бы стараясь подавить рыдание. Мужчина потряс его и сказал ему шепотом несколько грубых слов, после чего оба они спустились со стены в сад. Я все стоял на весу, поставив одну ногу на сук, а другую на подоконник, не смея пошевелиться, так как боялся привлечь к себе их внимание, потому что я мог слышать, как они шли, крадучись, в тени, отбрасываемой на далекое пространство домов. Вдруг я услышал прямо у себя под ногами какое-то царапанье и затем резкий звон падающего стекла.

– Готово, – сказал мужчина шепотом и скороговоркой. – Теперь для тебя довольно места.

– Но края с острыми зубцами! – воскликнул мальчик слабым дрожащим голосом.

Мужчина так выругался, что меня продрал мороз по коже.

– Полезай, щенок, – заворчал он, – не то...

Я не мог видеть, что он сделал, но вслед за тем вдруг послышался крик от боли.

– Полезу! Полезу! – закричал маленький мальчик.

Но больше я уже ничего не слышал, потому что у меня вдруг закружилась голова, и моя пятка соскользнула с сука. Я испустил ужасный крик и упал всей тяжестью моего тела, в котором было девяносто пять фунтов веса, прямо на согнутую спину вора. Если вы спросите меня, почему я так сделал, то я отвечу вам, что я сам до настоящего времени не знаю хорошенько, было ли это простой случайностью или же я сделал так с умыслом. Весьма возможно, что в то время, когда я намеревался поступить таким образом, случай устроил для меня это дело. Вор

выставил вперед голову и наклонился, стараясь пропихнуть мальчика в маленькое окошко, и в это самое время я упал на него, на то место, где шея соединяется со спинным хребтом. Он издал какой-то свист, упал ничком и покатился по траве, повернувшись три раза и стуча пятками. Его маленький спутник пустился бежать со всех ног при лунном свете и в один миг перелез через стену. Что же касается меня, то я сидел на земле, кричал благим матом и тер рукою одну из ног: я чувствовал, что она у меня как будто бы стянута раскаленным докрасна кольцом.

Само собою разумеется, что в самом скором времени в сад пришли все живущие в доме, начиная с главного учителя и кончая последним конюхом, с лампами и фонарями. Дело вскоре объяснилось; вора положили на ставень и унесли из сада; меня же с большой торжественностью отнесли в особенную спальню, где кость ноги вправил мне хирург Пэрди, младший из двоих братьев, носивших эту фамилию. Что касается вора, то нашли, что у него отнялись ноги, и доктора не могли сказать утвердительно, будет ли он владеть ими или нет. Но закон не стал ждать их окончательного решения, потому что через шесть недель после Карлайлской сессии он был повешен. Оказалось, что это был самый отчаянный преступник в Северной Англии, потому что он совершил три убийства и за ним было столько преступлений, что его стоило бы повесить не один раз, а десять.

Рассказывая вам о моем отрочестве, я не мог не упомянуть об этом случае, так как в то время он был самым важным событием в моей жизни. Но теперь я уже не буду более отклоняться от главного предмета, потому что, когда я подумаю обо всем, что нужно мне сказать, я вижу ясно, что мне придется очень много говорить, прежде чем я кончу: когда человек рассказывает только о своей частной жизни, то и это отнимает у него все его время; но когда он принимал участие в таких важных событиях, о которых я буду говорить, то ему очень трудно изложить все так, как бы он желал, особенно если он к этому не привык. Но, слава Богу, у меня все такая же хорошая память, какой она была и раньше, и я постараюсь рассказать решительно обо всем, прежде чем дойду до конца. По случаю этого дела с вором я подружился с Джимом Хорскрофтом, сыном доктора. Он с самого первого дня поступления в школу был самым смелым в драках, потому что не прошло и часа после того, как он приехал сюда, как он перебрал Бертон, который до него считался самым сильным из учеников, через большую черную доску в классе. Джим всегда отличался сильно развитыми мускулами и широкой костью, и даже в то время он был широкоплечим и высокого роста мальчиком, много не разговаривал, давал волю рукам и очень любил стоять, прислонясь своей широкой спиной к стене, с руками, глубоко засунутыми в карманы панталон. Я даже помню, что он ради шутки держал во рту сбоку соломинку, именно так, как впоследствии он держал трубку. У Джима остались те же самые хорошие и дурные наклонности, какие были и в то время, когда я в первый раз познакомился с ним. Господи! Каким героем он казался нам тогда! Мы были не больше, как маленькие дикари, и, подобно дикарям, чувствовали уважение к силе. Был у нас Том Карндель из Аппльбоя, который мог писать алкаические стихи так же легко, как будто бы это были только пентаметры и гекзаметры, но никто из учеников не обращал на Тома ни малейшего внимания. Был еще Уилли Ирншо, который знал решительно все года, начиная с убиения Авеля, так что к нему обращались даже учителя, если они были в сомнении, но у этого мальчика была узкая грудь, и хотя он был высок ростом, но не широк костью. И что же, разве помогло ему знание годов, когда Джек Симонс из младшего отделения класса гнал его по всему коридору ремнем с пряжкой на конце? С Джимом Хорскрофтом этого делать было нельзя. Какие рассказы о его силе передавали мы друг другу шепотом! Как он проломил кулаком филенку дубовой двери в рекреационной зале, как в то время, когда «Долговязый Мерридю» унес мяч, он схватил Мерридю с мячом, поднял его вверх и, минуя всех противников, быстро добежал до цели. Нам казалось ни с чем не сообразным, чтобы такой человек, как он, стал ломать себе голову из-за каких-то там спондеев и дактилей, или непременно знал, кто подписал Великую хартию. Когда он сказал при всем классе, что ее подписал король Альфред, то мы, маленькие, поду-

мали, что, по всей вероятности, так и было и что, может быть, Джим знает об этом лучше, чем тот, кто написал учебник. Ну, так вот, этот случай с вором и обратил на меня его внимание, потому что он погладил меня по голове и сказал, что я – храбрый маленький чертенок, и я по крайней мере неделю не чуял под собой ног от гордости. Целых два года мы были с ним очень дружны, и, хотя в сердцах или не подумав, он делал многие вещи, которые меня раздражали, но я любил его как брата и так плакал, что слез набралось бы с целый чернильный пузырек, когда он ушел от нас в Эдинбург, чтобы изучить профессиональное дело своего отца. Я после него пробыл еще пять лет в заведении Бертуистля и перед выходом сам сделался самым сильным учеником, потому что я был таким твердым и крепким, как китовый ус, хотя что касается до веса и развития мускулов, то я уступал в этом отношении моему знаменитому предшественнику. Я вышел из учебного заведения Бертуистля в год юбилея и после того три года прожил дома, занимаясь скотоводством. Но корабли на море и сухопутные армии все еще сражались, и на нашу страну падала грозная тень Бонапарта. Мог ли я знать, что и мне также придется принять участие в том, чтобы тень эта перестала пугать наш народ?

Глава II. Кузина Эди из Айемауса

За несколько лет до рассказанных мною происшествий, когда я был еще маленьким мальчиком, к нам приехала погостить недель на пять единственная дочь брата моего отца. Уилли Кольдер, поселившийся в Айемаусе, плел рыбачьи сети и этим плетением добывал больше, чем мы в Уэст-Инче, где рос вереск и была песчаная почва. Так вот, его дочь, Эди Кольдер, приехала к нам в хорошеньком красном платьице и шляпке, которая стоила пять шиллингов, с чемоданом, наполненным такими вещами, на которые моя дорогая мать смотрела с большим удивлением. Нам казалось странным, что она тратит так много денег, будучи еще совсем девочкой, что она отдала извозчику столько, сколько он с нее запросил, и прибавила ему еще два пенса, хотя он и не требовал этого. Она так пила имбирное пиво, как мы воду, и непременно требовала, чтобы в чай ей клали сахару, а с хлебом подавали масло, точно она была англичанкой.

В то время я не обращал большого внимания на девочек, потому что не понимал, на что они могут быть годны. В учебном заведении Бертуистля никто из нас не придавал им большого значения; но, должно быть, самые маленькие из учеников были умнее, потому что, когда они сделались старше, они начали думать несколько иначе. Мы, малыши, все были одинакового о них мнения: какая может быть польза от такого существа, которое не может драться, постоянно сплетничает, а если запустить камнем, то руки у него трясутся, точно тряпка, колеблемая ветром? А потом они напускают на себя такую важность, точно это отец и мать в одном лице, потому что всегда мешают играть, говоря: «Джимми, у тебя виден палец из сапога», или: «Ступай домой, грязный мальчишка, и умойся», – так что на них делается противно смотреть.

Поэтому, когда вышеупомянутая девочка поселилась в Уэст-Инче, мне было не особенно приятно на нее смотреть. В то время мне исполнилось двенадцать лет (это было на праздник), а ей – одиннадцать; она была худенькой девочкой довольно большого роста с черными глазами и очень смешными манерами. Она смотрела всегда вперед с разинутым ртом, как будто видела что-то удивительное; но когда я становился позади нее и смотрел в ту же сторону, куда глядела и она, то не мог увидеть ничего, кроме корыта для водопоя овец, или навозной кучи, или же нижнего белья отца, висящего на жерди для просушки. А потом, если она видела часть поля, поросшего вереском или папоротником, или какие-нибудь самые обыкновенные вещи в этом же роде, то начинала сентиментальничать, как будто бы это поразило ее, и кричала: «Как это мило! Как чудесно!» – как будто бы это была нарисованная картина. Она не любила никаких игр, и, несмотря на это, я заставлял ее играть в пятнашки и в другие игры в этом же роде; но с ней было совсем невесело играть, потому что я мог поймать ее в три прыжка, а ей никогда не удавалось поймать меня, хотя, когда она бежала, то так махала руками и производила такой шум, какого не было бы от десяти мальчиков. Когда я говорил, что она ни на что не годна и что отец ее делает глупо, что воспитывает ее таким образом, то она начинала плакать и говорила, что я – грубый мальчик и что она нынче же вечером уедет домой и во всю жизнь не простит мне такой обиды. Но через пять минут она совершенно забывала обо всем этом. Странно, что она любила меня больше, чем я ее, и никогда не оставляла меня в покое, но ходила за мной по пятам и потом говорила: «А, так вот ты где!» – как будто бы это казалось ей удивительным. Но вскоре я увидел, что в ней было кое-что и хорошее. Она иногда давала мне пенни, так что однажды у меня в кармане сразу очутилось четыре пенса. Но всего лучше было то, что она умела рассказывать разные истории. Так как она страшно боялась лягушек, то я обыкновенно приносил лягушку и говорил, что засуну ей лягушку за платье, если она не расскажет мне какой-нибудь истории. Это всегда производило такое действие, что она начинала рассказывать; но ей стоило только начать, а потом надо было удивляться, как она рассказывала дальше. У меня захватывало дух, когда я слушал рассказы о том, что с ней случилось. В Айемаус приезжал

какой-то варварийский пират, который опять придет через пять лет на корабле, наполненном золотом, и женится на ней; а потом там был также и какой-то странствующий рыцарь, который дал ей кольцо и сказал, что выкупит его, когда придет время. Она показывала мне кольцо, очень похожее на те кольца, которые были пришиты к пологу моей кровати, но она сказала, что это кольцо было из чистого золота. Я спрашивал у нее, что же сделает рыцарь, если он встретится с варварийским пиратом, и она говорила мне в ответ, что он снесет ему с плеч голову. Я никак не мог понять, что такое могли видеть в ней все эти люди. И тогда она говорила мне, что ее провожал в Уэст-Инч какой-то переодетый принц. Я спросил у нее, почему же она узнала, что это был принц, и она отвечала: «Потому, что он был переодет». В другой раз она сказала, что ее отец придумывает загадку, и когда он ее придумает, то напечатает в газетах, и тот, кто ее отгадает, получит половину его состояния и руку его дочери. Я сказал на это, что хорошо умею отгадывать загадки и что она должна прислать ее мне, когда она будет придумана. Она сказала, что загадка эта будет напечатана в «Бервикской газете», и пожелала узнать, что я сделаю с ней, когда получу ее руку. Я ответил на это, что продам ее с аукциона за столько, сколько за нее дадут; но в этот вечер она не хотела больше ничего рассказывать мне, потому что была чем-то очень обижена.

В то время, когда жила у нас кузина Эди, Джима Хорскрофта не было дома, но он вернулся на той же самой неделе, когда она от нас уехала, и я помню, что я очень удивился, когда он стал расспрашивать о девочке и заинтересовался ею. Он спросил у меня, хороша ли она собою, а когда я сказал, что я этого не заметил, то он засмеялся, назвал меня кротом и сказал, что придет такое время, когда у меня откроются глаза. Но вскоре он заинтересовался совсем другим, а что касается до меня, то я и не вспоминал об Эди до тех пор, пока она не взяла в свои руки мою жизнь и стала вертеть ею так, как я верчу это перо.

Это было в 1813 году, после того, как я вышел из школы, когда мне исполнилось восемнадцать лет; на моей верхней губе уже показалось волосков с сорок, и была надежда, что их вырастет еще больше. Когда я вышел из школы, то со мной произошла перемена: игры уже не занимали меня так, как прежде, но вместо этого я лежал на освещенных солнцем склонах холмов, разинув рот и смотря во все глаза, совершенно так, как это делала прежде кузина Эди. Прежде меня вполне удовлетворяло то, что я мог бегать скорее и прыгать выше, чем мой сосед на школьной лавке, и это наполняло всю мою жизнь; но теперь это казалось мне таким ничтожным; я все о чем-то грустил и грустил, смотря вверх на высокий небесный свод и вниз на поверхность синего моря, и чувствовал, что мне чего-то недостает, но не мог выразить, чего именно. И кроме того, я сделался также вспыльчивым, потому что у меня, по-видимому, были расстроены нервы, и когда моя мать спрашивала у меня, что такое со мной, или отец говорил, что мне нужно заняться делом, я отвечал на это так резко, что и сам впоследствии сожалел об этом. Ах! У человека может быть не одна жена, он может иметь несколько детей, но у него никогда не будет другой матери, и поэтому пусть он обращается с ней нежно, пока может.

Однажды, когда я вернулся домой от овец, я увидел, что отец сидит с письмом в руке, что у нас случалось очень редко, разве только в таких случаях, когда фактор писал о том, что следует платить поземельный налог. Затем, когда я подошел поближе к нему, я увидел, что он плачет. Я стоял и смотрел на него во все глаза: я всегда думал, что мужчине не следует этого делать. Я представляю его себе в таком виде и теперь, потому что на его загорелой щеке была тонкая глубокая морщина, через которую не могла перелиться слеза, и она поэтому должна была течь вкось к его уху и оттуда падала на лист бумаги. Около него сидела мать и гладила его руки так, как она гладила по спине кошку, когда хотела ее успокоить.

– Да, Дженни, – сказал он, – не стало бедного Уилли. Это письмо от его поверенного. Смерть была внезапная, а иначе нас известили бы раньше. Он пишет, что у него был карбункул и кровоизлияние в мозг.

– Ах, теперь все его страдания прекратились, – сказала мать.

Отец обтер себе уши посланною на стол скатертью.

– То, что он скопил, он оставил своей дочери, – сказал он, – и право же, если только она не переменялась, то она скорехонько все истратит. Ты помнишь, что она говорила о слабом чае, когда жила у нас, а ведь он стоит семь шиллингов фунт.

Мать покачала головой и посмотрела вверх на окорока ветчины, свисавшие с потолка.

– Он не пишет, сколько именно оставил покойный, но только говорит, что ей хватит с избытком. Он пишет также, что она приедет сюда и будет жить с нами, потому что таково его предсмертное желание.

– Она должна платить за свое содержание! – закричала резким тоном мать. В то время меня огорчило то, что она заговорила в такое время о деньгах, но если бы она не позаботилась об этом, то через год мы были бы выброшены на большую дорогу.

– Да, она будет платить и приедет к нам сегодня же. Послушай, Джек, сын мой, поезжай-ка ты в Эйтон и дожись там вечернего дилижанса. В нем приедет твоя кузина Эди, и ты привезешь ее в Уэст-Инч.

Когда на часах было четверть шестого, я поехал вместе с Соутером Джонни, стариком пятидесяти одного года, носившим длинные волосы, в нашей телеге, у которой был недавно выкрашен задок и в которой мы ездили только по праздникам. Омнибус приехал в одно время со мною, и я, глупый деревенский парень, не принимая в расчет того, что прошло уже несколько лет, искал в толпе, стоявшей перед постоялым двором, худенькую девочку, у которой юбочка была немного ниже колен. Когда я толкался тут и вытягивал шею, как журавль, меня вдруг кто-то тронул за локоть, и я увидел, что какая-то дама вся в черном стоит на подножке; я узнал, что это и была моя кузина Эди. Я узнал, говорю, но если бы она меня не тронула, то я прошел бы мимо нее двадцать раз и все-таки не узнал бы ее. Честное слово, если бы Джим Хорскрофт спросил у меня теперь, хорошенькая она или нет, то я сумел бы ответить ему! Она была смуглая, гораздо смуглее девушек в нашей пограничной области, с легким румянцем, пробивающимся сквозь смуглый цвет, подобно более яркой окраске в нижней части лепестков желтой розы. У нее были пунцовые губы, выражавшие доброту и твердость; и затем я сейчас же заметил тот плутовской и насмешливый взгляд, который таился в глубине ее больших черных глаз, показываясь на минуту и затем опять скрываясь. Она обошлась со мной так, как будто бы я достался ей по наследству, протянула мне свою руку и этим ободрила меня. Она была, как я уже сказал, в черном; платье на ней было какого-то удивительного фасона, черная вуаль откинута назад.

– Ах, Джек, – сказала она, жеманясь на английский манер, чему она научилась в пансионе. – Нет, нет, мы теперь уже не маленькие, – эти последние слова она сказала потому, что я самым неуклюжим образом приблизил к ней мое глупое загорелое лицо для того, чтобы поцеловать ее, как я сделал тогда, когда виделся с ней последний раз. – Влезьте поскорее наверх, голубчик, и дайте шиллинг кондуктору, потому что он был необыкновенно учтив со мной всю дорогу.

Я покраснел до ушей, потому что у меня в кармане была только одна четырехпенсовая серебряная монета. Никогда я не ощущал так сильно недостаток денег, как в эту минуту. Но она сразу поняла, в чем дело, и мигом всунула мне в руку маленький кожаный кошелек с серебряным замочком. Я заплатил кондуктору и хотел отдать ей ее кошелек назад, но она пожелала, чтобы он остался у меня.

– Вы будете моим кассиром, Джек, – сказала она со смехом. – Это ваш экипаж? Какой он смешной! Где же мне сесть?

– На сиденье, – отвечал я.

– А как же мне добраться до него?

– Поставьте ногу на ступицу колеса, я вам помогу.

Я вскочил в телегу и взял в свою руку обе ее маленькие ручки в перчатках. Когда она поднялась вверх с одной стороны телеги, то я почувствовал на своем лице ее дыхание, приятное и теплое, и казалось, что все, что было смутного и беспокойного у меня на душе, отлетело от нее в одну минуту. Я почувствовал, что в эту одну минуту я стал совсем другим человеком и сделался мужчиной.

Может быть, лошадь успела только махнуть хвостом – времени прошло не больше, – а между тем, со мной что-то произошло, где-то упала какая-то преграда, и я зажил новой, более широкой жизнью и стал опытнее. Все это я ощутил в один миг, но так как я был робок и необщителен, то только оправил для нее сиденье. Она следила глазами за дилижансом, который, гремя колесами, поехал назад в Бервик, и вдруг начала махать платком.

– Он снял шляпу, – сказала она. – Должно быть, он офицер. Он очень изящен на вид. Может быть, вы его заметили? Это тот джентльмен, который занимал место в имперiale, очень красивый собой, в коричневом пальто.

Я покачал головой, и сильная радость уступила место глупой злобе.

– Ах, я уже никогда не увижу его опять! Вот эти зеленые склоны холмов и серая выющаяся лентой дорога – все это в таком же виде, как было и прежде. Что же касается до вас, Джек, то я не вижу в вас большой перемены. Кажется, только манеры у вас стали лучше. Ведь вы уже не будете теперь пускать мне за спину лягушек, не будете? У меня сделалась дрожь при одной только мысли об этом.

– Мы сделаем все, что только можем, чтобы вам жилось хорошо в Уэст-Инче, – сказал я, помахивая бичом.

– Вы такие добрые, право, что приняли к себе бедную, одинокую девушку, – сказала она.

– Это так любезно с вашей стороны, что вы едете к нам, кузина Эди, – проговорил я, заикаясь. – Но я боюсь, что вам покажется у нас скучно.

– Я думаю, что у вас мало развлечений, Джек, не правда ли? Кажется, у вас немного соседей – мужчин, как мне помнится?

– Да, вот майор Эллиот, который живет в Корримюре. Он иногда приходит к нам по вечерам. Это бравый старый служака, который был ранен пулей в колено, когда служил под начальством Веллингтона.

– Ах, когда я говорю о мужчинах, Джек, это вовсе не значит, что я говорю о стариках, раненных в колено. Я говорю о людях нашего с вами возраста, с которыми можно было бы познакомиться. Да, кстати, – кажется, у этого старого ворчуна доктора был сын?

– О да, конечно. Это – Джим Хорскрофт, мой закадычный друг.

– А что, он живет дома?

– Нет, но скоро вернется домой. Теперь он все еще в Эдинбурге – он там учится.

– Ну так мы будем проводить время вместе, до тех пор, пока он не вернется. Но я очень устала и желала бы поскорее доехать до Уэст-Инча.

Я заставил старого Соустера Джонни ехать с такой быстротой, с какой он никогда не ездил прежде, и через час после этого разговора она уже сидела за ужином, и мать моя поставила на стол не только масло, но даже хрустальную тарелку с вареньем из крыжовника, и тарелка эта блестела и казалась очень красивою при свете свечи.

Я видел, что и родители мои, так же, как я, были поражены происшедшей с ней переменой, хотя у них это выражалось иначе.

Моя мать была так озадачена тем, что у нее на шее было надето что-то из перьев, что она называла ее не просто Эди, а мисс Кольдер, так что, наконец, моя кузина, у которой были такие милые, грациозные манеры, стала поднимать кверху свой указательный пальчик всякий раз, когда она делала это. После ужина, когда она пошла спать, мои родители больше ни о чем не говорили, как только о том, какой у нее вид и как она воспитана.

– Впрочем, надо сказать, – заметил мой отец, – что-то не видно, чтобы она особенно горевала о смерти моего брата.

И только тут я вспомнил, что она не сказала об этом ни слова во все время с тех пор, как я с ней встретился.

Глава III. Тень на море

В скором времени кузина Эди сделалась у нас, в Уэст-Инче, королевой, а мы все, начиная с отца, – ее покорными подданными. Когда моя мать сказала, что ее содержание обойдется не дороже четырех шиллингов в неделю, то Эди по своей доброй воле назначила плату в семь шиллингов и шесть пенсов. Ей отдали комнату, выходящую на юг, где было всего больше солнца и окно обвито жимолостью; и надо было только любоваться теми вещами, которые она привезла из Бервика, чтобы поставить в нее. Она ездила туда два раза в неделю, но наша телега не годилась для нее, а потому она нанимала двухколесный фаэтон у Энгуса Уайтгеда, ферма которого находилась за холмом. И она почти всякий раз привозила подарок которому-нибудь из нас: или деревянную трубку отцу, или шотландский плед матери, или какую-нибудь книгу мне, или же медный ошейник для Роба – нашей овчарки. Кажется, не было на свете женщины щедрее ее.

Но самым лучшим подарком для нас было ее присутствие. Благодаря ему, самый ландшафт принял для меня иной вид: с того дня, как она приехала, солнце светило ярче, склоны холма казались зеленее и воздух приятнее. Наша жизнь уже не была однообразною, как прежде, потому что мы проводили время в обществе такой девушки, какой была она, и старый, мрачный, серый дом казался мне совсем другим местом с тех пор, как она прошла по циновке, лежавшей у входной двери. Не лицо ее, хотя оно было привлекательным, и не фигура, хотя я не видывал другой такой девушки, которая могла бы сравниться с ней по фигуре, но ее ум, ее оригинальное обращение, в котором проглядывала насмешка, ее новая для нас манера говорить, гордо везти за собой шлейф и вскидывать кверху голову, – вот что производило то, что всякий чувствовал себя как бы землею, по которой она ходила, а затем ее быстрый, вызывающий на откровенность взгляд и сказанное ею доброе слово делали то, что человек опять становился на один уровень с нею. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он стоял на одном с нею уровне. Мне всегда казалось, что она стоит выше меня и ушла вперед от меня. Я мог убеждать самого себя, бранить себя и делать, что мне угодно, но не мог заставить себя думать, что в наших жилах течет одна и та же кровь и что она была только деревенской девушкой, так же, как и я был только деревенским парнем. Чем больше я любил ее, тем больше я ее боялся, и она могла заметить, что я боюсь ее, раньше, чем увидела мою любовь к ней. Когда я был не с ней, то находился в тревожном состоянии, а когда я был с ней, то дрожал все время, потому что боялся, как бы своими нескладными речами не надоест ей или чем-нибудь не оскорбить ее. Если бы я лучше знал женщин, то не стал бы так мучиться этим.

– Вы очень переменились, Джек, и стали совсем не таким, как прежде, – сказала она, искоса поглядывая на меня из-под своих черных ресниц.

– А когда мы с вами встретились, то вы сказали, что я не очень переменился, – заметил я.

– Ах! Тогда я говорила о том, что вы не очень переменились на вид, а теперь говорю о вашей манере держать себя. Прежде вы обращались со мной так грубо, так повелительно, все хотели сделать по-своему, вы были точно маленький мужчина. Я помню вас с вашими всклокоченными волосами и плутовскими глазами. А теперь вы такой кроткий, такой скромный и говорите так тихо.

– С годами человек привыкает держать себя, как следует, – сказал я.

– Ах да, но я скажу вам, Джек, что в прежнем виде вы нравились мне гораздо больше, чем теперь.

И когда она говорила это, я смотрел на нее с удивлением: я думал, что она не может мне простить того, как я обращался с ней. Я решительно не мог понять, кому это могло нравиться, – разве только кому-нибудь из сумасшедшего дома. Я вспомнил, что, когда она читала, сидя у входной двери, я отправлялся, бывало, в степь с хлыстом из орешника, на конце которого было

шесть маленьких глиняных шариков, и бросал в нее этими шариками так, что доводил ее до слез. А потом я вспомнил еще, как я поймал угря в ручейке, в Корримюре, и с ним гонялся за ней, и, наконец, она с криком прибежала к моей матери и спряталась под ее фартук, обезумев от страха, а отец, ударив меня по уху веселкой для похлебки, сшиб меня с ног, и я вместе с угрем покотился под кухонный шкаф для посуды. И вот этого-то ей теперь и не доставало. Ну так в настоящее время она этого никогда не увидит, потому что у меня скорее отсохнет рука, чем я стану делать это теперь. Но только теперь я стал понимать эту странность в характере женщины, а также то, что мужчина не должен рассуждать о женщине, но только наблюдать и стараться понять ее.

Через несколько времени у нас с ней установились известные отношения, когда она увидела, что может делать, что ей угодно и как угодно, и что она может поманить меня к себе и позвать, точно так же, как я мог распоряжаться старым Робом. Вы подумаете, я был глуп, что позволил вскружить себе голову? Может быть, я и действительно был глуп, но при этом вы должны вспомнить, что я совсем не видал женщин и теперь нам часто приходилось быть вместе. Кроме того, она была одна из миллиона женщин, а я скажу вам, что нужно было иметь очень крепкую голову для того, чтобы она не вскружила ее.

Да вот хоть бы майор Эллиот, человек, который схоронил трех жен и участвовал в двенадцати настоящих сражениях, так и его Эди могла обернуть вокруг своего пальчика, точно мокрую тряпку, – она, девушка, только что вышедшая из пансиона, где была полной пансионеркой. Я встретил его, когда он шел, прихрамывая, из Уэст-Инча в первый раз после того, как она приехала, с румянцем на щеках и блестящими глазами, так что казался лет на десять моложе. Он поднимал кверху свои седые усы и закручивал их до самых глаз и так гордо выступал своей здоровой ногой, точно музыкант, играющий на духовом инструменте. Бог знает, что она сказала ему, но только ее слова подействовали на его кровь точно старое вино.

– Я пришел к тебе, парень, – сказал он, – но теперь мне нужно опять идти домой. Впрочем, я приходил не задаром, потому что имел возможность увидеть *la belle cousine*. Прелестная и очаровательная молодая особа, скажу тебе, парень.

Он выражался очень правильно и точно и любил иногда вернуть в свою речь какое-нибудь французское слово, потому что в бытность свою на полуострове он немножко научился этому языку. Он так все и продолжал бы говорить о кухне Эди, но я увидел, что у него из кармана торчит уголок газеты, и понял, что он, по своему обыкновению, приходил к нам затем, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости, потому что мы, живя в Уэст-Инче, почти ни о чем не слыхали.

– Что новенького, майор? – спросил я.

Он вытащил из кармана газету и помахал ею.

– Союзники одержали большую победу, сын мой. Я думаю, что Нэп (Наполеон) не может долго сопротивляться. Саксонцы оттеснили его, и он был совершенно разбит при Лейпциге. Веллингтон перешел Пиринеи, и полки Грагэма будут скоро в Болонье.

Я подбросил вверх свою шляпу.

– Значит, война прекратится, наконец, – воскликнул я.

– Да и пора, – сказал он, покачивая головой с серьезным видом. – Это была кровопролитная война. Ну, теперь уже не стоит говорить о том, какой план был у меня в голове относительно тебя.

– Какой же это план?

– Да вот какой, мой милый: у тебя тут нет настоящего дела, а так как теперь у меня колено стало лучше разгибаться, то я надеялся опять поступить на службу в действующую армию. Я думал, что и ты мог бы пойти в солдаты и послужить под моим начальством.

При одной мысли об этом у меня сильно забилося сердце.

– Да, я желал бы этого! – воскликнул я.

– Но ведь пройдет не меньше шести месяцев, прежде чем я буду в состоянии сесть на корабль, а почему знать, может быть, Бони (Бонапарт) будет где-нибудь в заточении раньше, чем пройдет это время.

– А что скажет моя мать? – спросил я. – Я думаю, что она меня ни за что не отпустит.

– Ах, да теперь ее совсем не нужно об этом спрашивать, – ответил он и пошел, прихрамывая, своей дорогой.

Я сел на землю среди вереска и, подперев подбородок рукой, начал думать об этом, смотря вслед майору, который шел впереди в своем старом коричневом платье и сером пледе, конец которого развеялся по ветру на его плече, выбирая место, где было удобнее идти вверх по холму. Здесь, в Уэст-Инче, где я буду жить до тех пор, пока не займу место отца, – жалкая жизнь: перед моими глазами вечно будут та же степь, один и тот же ручей, все те же овцы и все тот же серый дом. Но там, за синим морем, ах! там настоящая жизнь для мужчины. Вот майор – он человек немолодой, раненый и растративший свои силы, но и он думает о том, чтобы опять поступить на службу, а я, человек молодой и в полной силе, трачу понапрасну время на склонах этих холмов.

Яркий румянец стыда залил мне лицо, и я вскочил с места, горя нетерпением уехать поскорее отсюда и жить на свете так, как следует мужчине. Я все думал и раздумывал об этом целых два дня, и вот на третий день случилось нечто такое, что сначала заставило меня сразу решиться, но потом от этого же самого принятое мною решение рассеялось, точно дым в воздухе.

После полудня я пошел погулять с кузиной Эди и Робом, и мы дошли до такого места, где кончается склон холма, а дальше идет морской берег. То было поздней осенью, и вереск завял и принял бронзовый цвет, но солнце все еще светило ярко, было тепло, и по временам дул теплый южный ветерок, от которого широкая поверхность синего моря покрывалась рябью с белыми волнистыми линиями. Я нарвал папоротников для того, чтобы Эди могла лечь, и вот она лежала тут, как и всегда, с беспечным видом, веселая и довольная, потому что я не встречал другого такого человека, который так наслаждался бы теплотой и светом, как она; я присел на кучку травы, а Роб положил мне на колени свою голову, и когда мы сидели тут спокойно, совершенно одни в этом диком месте, даже и тут мы увидели на воде перед собой тень того великого, находившегося за морем человека, который красными буквами начертил свое имя на карте Европы.

По морю плыл по ветру степенный черный старый купеческий корабль, направлявшийся, по всей вероятности, в Лит. У него были длинные реи, и он шел на всех парусах. В другом направлении, с северо-востока, шли два больших неуклюжих, похожих на люгеры судна, каждое с высокою мачтой и большим четырехугольным серым парусом. Что могло быть прекраснее этого зрелища, когда три судна плыли по морю в такую прекрасную погоду! Но вдруг на одном из люгеров показались огонь от выстрела и клуб синего дыма и то же самое на другом, а с корабля послышалась пушечная пальба. В один миг ад заменил собою рай, и здесь, на воде, проявили себя ненависть, жестокосердие и жажда крови.

Когда послышались выстрелы, мы вскочили на ноги, и Эди, которая дрожала, как осиновый лист, положила свою руку на мою.

– Они сражаются, Джек! – воскликнула она. – Что это за люди? Кто они?

У меня сердце сильно билось при пушечных выстрелах, и я, задыхаясь, мог сказать ей в ответ только следующее:

– Это два французских капера, Эди. Французы называют их *chasse-marries*, а это один из наших купеческих кораблей, и они возьмут его – это верно, как смерть; потому что, майор говорил, на них всегда бывают пушки большого калибра и так много матросов, как сельдей в бочонке. Отчего этот глупый корабль не плывет назад к бару при устье Твида?

Но корабль и не думал спускать ни одного паруса – он, тяжело погружаясь в воду, продолжал плыть дальше, что было глупо с его стороны, и вдруг маленькое черное ядро ударило в верхний конец его бизань-реи, и чудесный старый флаг сразу упал вниз. Затем последовали выстрелы из его небольших пушек и громкая пальба из больших каронад с кормы флюгера. Через минуту все три судна сошлись вместе, и купеческий корабль метался, подобно оленю, в бедра которого вцепились зубами два волка. Все три судна слились в одно черное пятно с неясными очертаниями, окутанное дымом, в котором торчали, точно щетина, мачты, а из середины этого облака беспрестанно выскакивали красные огоньки; шла такая страшная пальба из пушек большого и мелкого калибра, что и после у меня в течение нескольких недель стоял в ушах какой-то гул. Битый час это облако, содержащее в себе целый ад, медленно двигалось по воде, а мы с замиранием сердца не спускали глаз с флага, стараясь разглядеть, все ли он на своем месте. И вдруг корабль, такой же гордый, черный и высокий, как и прежде, поплыл опять своим путем; а когда рассеялся дым, то мы увидели, что один из люгеров тащился по воде, точно утка с подбитыми крыльями, а с другого люгера экипаж спешил переехать в шлюпки прежде, чем он затонет.

В продолжение этого часа я ничего не видал и не слышал, кроме битвы. У меня снесло ветром шляпу с головы, но я этого и не заметил. Теперь с сердцем, преисполненным радости, я повернулся к моей кухне Эди, и увидел ее такую, какой она была шесть лет тому назад. У нее были такие же выражающие удивление и пристально смотрящие на один предмет глаза и разинутый рот, как и тогда, когда она была еще девочкой, и она так крепко сжала в кулаки свои маленькие ручки, что кости суставов были похожи на слоновую кость.

– Ах, этот капитан! – сказала она, обращаясь к степи и к вереску. – Вот это сильный и решительный мужчина! Какая женщина не стала бы гордиться таким мужем!

– Да, он храбро сражался! – воскликнул я с восторгом.

Она посмотрела на меня так, как будто бы совсем позабыла о моем присутствии.

– Я отдала бы целый год жизни за то, чтобы встретить такого человека, – сказала она. – Но вот что значит жить в деревне. Тут только и видишь таких людей, которые не способны на что-нибудь лучшее.

Я не могу сказать наверняка, что Эди хотела обидеть меня, хотя подобные вещи были вполне в ее характере; но каково бы то ни было ее намерение, эти слова задели меня за живое.

– Очень хорошо, кухня Эди, – сказал я, стараясь говорить спокойным тоном. – Этим все сказано. Сегодня же вечером я отправлюсь в Бервик и запишусь в вольноопределяющиеся.

– Как, Джек! Вы будете солдатом?

– Да, если вы думаете, что всякий, кто живет в деревне, – трус.

– О, вы будете очень красивы в красном мундире, Джек, и вы делаетесь гораздо лучше, когда выходите из себя. Я желаю, чтобы у вас так сверкали глаза, потому что это придает вам прекрасный и мужественный вид. Но я уверена, что вы шутите, когда говорите, что поступите на военную службу.

– Вот я вам покажу, шучу я или нет.

И после этих слов я побежал со всех ног по степи и вбежал в кухню, где мой отец и мать сидели по обе стороны печи.

– Мать, – крикнул я, – я иду записываться в солдаты!

Если бы я сказал, что я хочу сделаться вором, то они посмотрели бы на это точно такими же глазами, потому что в те времена из среды скромных и кротких деревенских жителей только паршивые овцы собирались в одно стадо сержантом. Но, честное слово, эти самые паршивые овцы оказали своей родине не одну важную услугу. Моя мать подняла руки в митенках к глазам, а отец почернел, как торф.

– Это что такое, Джек? Да ты с ума сошел? – сказал отец.

– Сошел я с ума или нет, но только я уйду.

– А когда так, я не дам тебе благословения.

– Ну так я уйду и без него!

При этих словах моя мать вскрикнула и ухватила меня руками за шею. Я увидел ее руки, загрубелые, исхудалые и костлявые от работы, которую ей приходилось делать для того, чтобы вырастить меня, и это подействовало на меня сильнее всяких слов. Мое сердце было полно нежного чувства к ней, но моя воля была тверда, как камень. Я посадил ее опять на стул, поцеловал и потом побежал в свою комнату, чтобы собрать свои вещи. Становилось уже темно, а мне нужно было идти далеко, поэтому, связав кое-что в узелок, я поспешил выйти из дома. Когда я выходил через черную дверь, кто-то притронулся к моему плечу: в темноте стояла Эди.

– Глупый мальчик, – сказала она, – неужели же вы и в самом деле уйдете?

– Уйду ли я? Вы это увидите.

– Но ведь ваш отец не желает этого, да и мать тоже.

– Я это знаю.

– Так зачем же вы уходите?

– Вам-то, кажется, это следовало бы знать.

– Скажите зачем?

– Потому что вы меня заставляете!

– Я не хочу, чтобы вы уходили, Джек.

– Вы сами сказали это. Вы сказали, что те, кто живет в деревне, не способны на что-нибудь хорошее. Вы всегда так говорите. Вы думаете обо мне столько же, сколько о голубях в голубятне. Вы считаете меня совершенным ничтожеством. Я вам докажу, что я не таков.

Я высказал в своей речи все, что меня огорчало, короткими, прочувственными фразами. Когда я говорил, то она покраснела и посмотрела на меня, по своему обыкновению, своим странным, наполовину насмешливым и наполовину сердитым взглядом.

– О, я думаю о вас так мало? – спросила она. – И по этой причине вы уходите из дома? Когда так, Джек, то останетесь ли вы, если я... если я буду ласкова с вами?

Мы стояли лицом к лицу, очень близко один от другого, и в одну минуту дело было сделано. Я схватил ее в объятия и целовал ее, целовал без конца, целовал ее рот, щеки, глаза, прижимал ее к своему сердцу и шептал ей, что она была для меня всем на свете и что я не мог жить без нее. Она ничего не говорила, но прошло немало времени, прежде чем она отвернула от меня свое лицо, и когда она оттолкнула меня от себя, то сделала это не очень сильно.

– Да, вы сделались опять таким же грубым и дерзким, каким были прежде, – сказала она, приглаживая себе обеими руками волосы. – Вы на мне все смяли, Джек; я никогда не думала, что вы такой смелый!

Но теперь я уже совсем не боялся ее, и во мне кипела кровь от любви, которая сделалась в десять раз горячее, чем прежде. Я взял ее опять в свои объятия и целовал, как будто бы имел на это право.

– Теперь вы моя! – кричал я. – Я не пойду в Бервик, но останусь здесь и женюсь на вас.

Но когда я сказал, что женюсь на ней, она засмеялась.

– Глупый мальчик! Глупый мальчик! – сказала она, и затем, когда я опять попытался обнять ее, она сделала грациозный реверанс и убежала в комнаты.

Глава IV. Выбор Джима

И вслед за этим наступили те десять недель, которые были похожи на сон, они представляются мне сном и теперь, когда я вспоминаю о них. Я могу наскучить вам, если стану рассказывать о том, что происходило между нами; но какое глубокое, какое важное и решающее значение имело для меня все это в то время! Ее своеволие, ее постоянно меняющееся настроение, то веселое, то мрачное, как луг, над которым проходят облака, ее беспричинный гнев и сейчас же вслед за тем раскаяние, – все это то наполняло мою душу радостью, то огорчало меня; в этом была вся моя жизнь, все остальное не имело для меня никакого значения. Но каковы бы ни были мои чувства, я ощущал в глубине сердца какую-то тревогу, в которой и сам не отдавал себе отчета, какой-то страх: мне казалось, что я похож на того человека, который хочет схватить радугу, и что настоящая Эди Кольдер, хотя она и была близка, на самом деле находилась на недостижимом для меня расстоянии. Это потому, что ее было трудно понять, по крайней мере, мне, тупоумному деревенскому парню. Когда я говорил ей о моих планах на будущее, о том, что если бы мы взяли на аренду весь Корримюр, то могли бы получать не меньше ста фунтов стерлингов лишнего дохода, и тогда можно было бы устроить приемную в Уэст-Инче и красиво убраться для нее, когда мы с ней обвенчаемся, то она надувала губки и опускала глаза, как будто бы у нее не хватало терпения выслушать меня. Но когда я предавался мечтам о том, чем я могу сделаться впоследствии, что, может быть, я отыщу такую бумагу, которая послужит доказательством того, что я – наследник какого-нибудь лорда, или что я, не поступая на службу, о чем она не хотела и слышать, окажусь знаменитым воином и мое имя будет у всех на устах, то она делалась такой веселой, как майский день. Я старался поддерживать эту иллюзию, насколько мог, и вдруг у меня вырывалось какое-нибудь несчастное слово, которое показывало, что я не более как Джон Кольдер из Уэст-Инча, и она опять надувала губки, выказывая мне этим свое презрение. И таким образом мы шли с ней вперед: она – по воздуху, а я – по земле, и что-нибудь непременно должно было разлучить нас. Это случилось после Рождества, но зима была не холодная и подморозило настолько, что можно было только безопасно ходить по торфяным болотам. Как-то раз утром, когда было довольно свежо, Эди рано ушла из дома и вернулась назад вся расстроенная.

– Что, вернулся домой ваш приятель, сын доктора, Джек? – спросила она.

– Я слышал, что его ждут.

– Ах, так, значит, это я его встретила в степи.

– Как! Вы встретили Джима Хорскрофта?

– Я уверена, что это был он. Замечательно красивый мужчина – герой, с кудрявыми черными волосами, коротким прямым носом и серыми глазами. У него плечи, как у статуи, а что касается до роста, то, я думаю, ваша голова, Джек, будет только до булавки в его галстук.

– До его уха, Эди, – сказал я с негодованием. – Да, это был Джим. Но скажите вот что: не торчала ли у него изо рта сбоку коричневая деревянная трубка?

– Да, он курил. Он был одет в серое, и у него громкий, басистый голос.

– О, о! Так вы говорили с ним! – сказал я.

Она немножко покраснела, так как проговорила.

– Я шла по такому месту, где земля была не совсем тверда, и он сказал мне, чтобы я была осторожней, – сказала она.

– Ах, должно быть, это и был мой милый старый приятель Джим, – заметил я. – Он уже давно был бы доктором, если бы у него ум был так же силен, как рука. Да вот он сам, честное слово.

Я увидел его из окна в кухне и выбежал на двор со съеденной наполовину овсяной лепешкой, чтобы поздороваться с ним. Он также побежал вперед с протянутыми руками и сияющими глазами.

– Ах, Джек, – закричал он, – я так рад, что вижу тебя опять. Старый друг лучше новых двух. – Но тут он вдруг замолчал и, разинув рот, стал пристально смотреть на что-то через мое плечо. Я обернулся: в дверях стояла Эди с веселой плутовской улыбкой на лице. Как я гордился ею, да и самим собою тоже, когда посмотрел на нее!

– Это моя кузина, мисс Эди Кольдер, Джим, – сказал я.

– А вы часто гуляете до завтрака, мистер Хорскрофт? – спросила она все с той же плутовской улыбкой.

– Да, – отвечал он, пристально смотря на нее.

– И я тоже, по обыкновению, там, в степи, – сказала она. – Но вы не очень-то радушно принимаете вашего приятеля, Джек. Если вы не будете его угощать, то я должна буду занять ваше место для того, чтобы поддержать честь Уэст-Инча.

Через минуту мы были вместе со стариками, и Джиму тоже налили тарелку супа; но он почти не говорил ни слова, но сидел с ложкой в руке, не спуская глаз с кузины Эди. Она все время бросала на него быстрые взгляды; мне казалось, что ее забавляла его робость и что она старалась ободрить его своими словами.

– Джек рассказывал мне, что вы учитесь для того, чтобы сделаться доктором, – сказала она. – Но, должно быть, это очень трудно, и нужно много времени для того, чтобы можно было научиться этому.

– Мне нужно много времени, – ответил печальным тоном Джим. – Но я все-таки стараюсь добиться своего.

– Ах, какой вы молодец! Вы человек настойчивый. Вы смотрите прямо в цель и идете к ней, и ничто не может вас остановить.

– Право, мне нечем похвалиться, – сказал он. – Многие из студентов, которые начали вместе со мной, уже давно имеют самостоятельную практику, а вот я все еще студент.

– Вы говорите так из скромности, мистер Хорскрофт. Говорят, что самые мужественные люди всегда бывают скромными. Но когда, наконец, вы достигнете своей цели, какая это прекрасная карьера – подавать исцеление, поднимать с одра болезни страдальцев, иметь своей единственной целью благо человечества.

Услыша такие слова, честный Джим начал вертеться на своем стуле.

– Мне кажется, что у меня совсем нет таких высоких мотивов, мисс Кольдер, – сказал он. – Я учусь для того, чтобы зарабатывать кусок хлеба и взять на себя практику моего отца. Если я одной рукой подаю исцеление, то другую протягиваю для того, чтобы получить крону.

– Какой вы откровенный и правдивый человек! – воскликнула она. И таким образом они вели между собой разговор и дальше, причем она украшала его всевозможными добродетелями и повертывала его слова так, чтобы его выдвинуть, – хорошо знаю эту ее манеру. Он еще не успел кончить разговора, а я уже видел, что у него голова идет кругом от ее красоты и ее ласковых слов. Я был проникнут гордостью, думая о том, что он составил себе такое высокое мнение о моей родственнице.

– Не правда ли, что она хороша собой, Джим? – Я не мог удержаться, чтобы не сказать этого, когда мы с ним стояли на дворе у входной двери и он, прежде чем идти домой, закуривал свою трубку.

– Хороша ли! – воскликнул он. – Я никогда не видал ничего подобного.

– Мы с ней скоро обвенчаемся.

Трубка выпала у него изо рта, и он стоял и смотрел на меня во все глаза. Затем он поднял опять трубку и пошел домой, не говоря ни слова. Я думал, что он, может быть, вернется, но он не вернулся, и я видел, как он шел вдали вверх по склону холма, опустив голову на грудь.

Но я не мог о нем позабыть, потому что кузина Эди засыпала меня вопросами о нем, о том, каков он был мальчиком, о его силе, с какими женщинами он был знаком: ее ничем нельзя было удовлетворить. А затем я опять услышал о нем в тот же день, но только позже, причем отзывы о нем были далеко не такие лестные. Мой отец, вернувшись домой вечером, очень много говорил о бедном Джиме. После полудня он был мертвецки пьян; затем ходил на берег в Уэстгоус, чтобы драться с кулачным бойцом – цыганом, и думали, что его противник не переживет ночи. Мой отец встретил Джима на большой дороге; он был мрачен, как туча, готов был оскорбить всякого, кто проходил мимо него. «Упаси господи! – сказал старик. – Хороша будет у него практика, если он начнет ломать кости». Кузина Эди смеялась надо всем этим, а я смеялся потому, что смеялась она; но мне казалось, что это совсем не смешно. На третий день после этого я поднимался по холму в Корримюре по той тропинке, по которой ходят овцы, и вдруг вижу, что вниз спускается не кто иной, как сам Джим. Но это был уже не тот большой ростом, добродушный человек, который два дня тому назад ел утром суп вместе с нами. На нем не было ни воротничка, ни галстука, жилет у него был расстегнут, волосы всклокочены, а лицо все в пятнах, как у человека, который был сильно пьян накануне. В руках у него была ясеневая палка, которой он сбивал головки дрока, росшего по обе стороны тропинки.

– А, это ты, Джим! – сказал я.

Но он посмотрел на меня таким взглядом, какой я часто видел у него в школе, когда он сильно злился на что-нибудь и знал, что он виноват, но только ни за что не хотел показать этого. Он не сказал ни слова, но только быстро прошел мимо меня по узкой тропинке и, хорохорясь, пошел дальше, махая своей ясеновой палкой и обивая ею кусты.

Ах, но я не сердился на него! Я был огорчен, очень огорчен этим, и больше ничего. Само собой разумеется, что я не был настолько слеп, чтобы не видеть, в чем тут дело. Он влюбился в Эди и не мог выносить того, что она будет принадлежать мне. Бедняга, разве он мог помешать этому? Может быть, и я на его месте был бы в таком же состоянии. Было такое время, когда мне показалось бы удивительным, что девушка может так вскружить голову сильному мужчине, но теперь я был опытнее в этом отношении.

Целых две недели я совсем не видал Джима Хорс-крофта, и наконец наступил тот четверг, в который совершился переворот в моей жизни. Я проснулся в этот день рано и в радостном настроении, что случается редко, когда человек только что откроет глаза. Накануне Эди была со мною ласковее, чем обыкновенно, и я заснул с той мыслью, что, может быть, мне удалось, наконец, схватить радугу и что Эди без всяких иллюзий и мечтаний полюбила простодушного, грубого Джека Кольдера из Уэст-Инча. Эта мысль не выходила у меня из ума и доставила мне радость утром – у меня в сердце точно щебетали птички. А затем я вспомнил, что если я поспешу, то еще застаю ее дома, потому что она, по своему обыкновению, уходила с восходом солнца.

Но я опоздал. Когда я подошел к двери ее комнаты, то она была полуотворена, и в комнате никого не было. «Ну, – подумал я, – я, по крайней мере, могу встретить ее и вместе с ней вернуться домой». С вершины Корримюрского холма можно видеть все окрестности. И вот, захватив свою палку, я пошел в этом направлении. День был ясный, но холодный, и я помню, что был слышен громкий шум прибоя, хотя в наших местах в течение нескольких дней совсем не было ветра. Я шел зигзагами по крутой тропинке, дыша чистым свежим утренним воздухом и напевая вполголоса песенку до тех пор, пока не дошел, немного запыхавшись, до вереска, росшего на вершине. Посмотрев вниз на длинный склон противоположной стороны, я увидел кузину Эди, как и ожидал этого; но я увидел и Джима Хорскрофта, который шел рядом с нею.

Они были недалеко от меня, но так заняты друг другом, что совсем меня не заметили. Она шла медленными шагами, шаловливо закинув свою грациозную головку с той манерой, которая была мне хорошо известна, отвернувшись от него и от времени до времени перекидываясь с ним словом. Он шел рядом с ней, смотря на нее сверху вниз и наклонив голову при разговоре,

который, казалось, был серьезным. Затем, когда он что-то сказал, она ласково положила свою руку на его, а он, расставив ноги, поднял ее на воздух и несколько раз поцеловал. Увидя это, я не мог ни закричать, ни двинуться с места, но стоял с сердцем, которое точно налилось свинцом, с лицом мертвеца, и не спускал с них глаз. Я видел, что она положила ему руку на плечо и так охотно принимала от него поцелуи, как никогда не принимала их от меня.

После этого он опять опустил ее на землю, и я понял, что это они прощались, потому что, если бы они прошли еще шагов сто, то их можно было бы увидеть из окон верхнего этажа дома. Она пошла от него медленными шагами и раз или два помахала ему, а он стоял и смотрел ей вслед. Я подождал до тех пор, пока она не отошла на некоторое расстояние, и затем пошел вниз, но он был так занят, что я подошел к нему совсем близко и мог бы дотронуться до него рукой, прежде чем он заметил меня. Когда он встретился со мной глазами, то сделал попытку улыбнуться.

– Ах, Джек, – сказал он, – ты встал так рано!

– Я видел вас! – проговорил я, задыхаясь, и у меня так пересохло в горле, что я говорил так, как будто бы у меня была горловая жаба.

– Ты видел? – сказал он и потихоньку засвистал. – Ну, ей-богу же, Джек, меня это не огорчает. Я имел намерение прийти сегодня же в Уэст-Инч и объяснить с тобой. Может быть, так вышло даже лучше.

– Хорош ты мне друг! – сказал я.

– Послушай, Джек, будь рассудителен, – сказал он, засовывая руки в карманы и покачиваясь из стороны в сторону. – Дай мне объяснить тебе, в каком положении дело. Посмотри мне в глаза, и ты увидишь, что я не лгу. Вот как это случилось. Я встретил Эди, то есть мисс Кольдер, прежде чем пришел к вам тогда утром, и были некоторые вещи, по которым я считал ее совершенно свободной; думая, что это действительно так, я решил, что она будет моей. Затем ты сказал, что она несвободна, но обручена с тобой, и это на некоторое время было для меня жестоким ударом. Это вывело меня из себя, я несколько дней безумствовал, и еще слава Богу, что не попал в Бервикскую тюрьму. Затем я случайно встретил ее опять – ей-богу, Джек, это было случайно, – и когда я стал говорить о тебе, она засмеялась тому, что это может быть. «Он мне только двоюродный брат, не более», – сказала она, но что же касается до того, что она будто несвободна или ты для нее больше, чем друг, то это одна только глупая болтовня. Потому ты видишь, Джек, что я вовсе не так виноват, как ты думал, и тем более что она обещала дать тебе понять своим обращением, что ты ошибаешься, думая, что имеешь на нее права. Ты, вероятно, заметил, что в продолжение этих двух недель она почти ни слова не сказала с тобой.

Я горько засмеялся.

– Да не далее как вчера вечером, – отвечал я. – Она сказала мне, что я был единственным человеком на свете, которого она могла бы полюбить.

Джим Хорскрофт протянул дрожащую руку и положил ее на мое плечо, близко придвинув ко мне свое лицо, и посмотрел мне в самые глаза.

– Джек Кольдер, – сказал он, – я знаю, что ты никогда не лгал. Уж не хочешь ли ты отплатить мне обманом за обман? Говори правду, нас никто не слышит.

– Это истинная правда, – сказал я.

Он стоял и смотрел на меня, и лицо его выражало, что в нем происходит сильная внутренняя борьба. Прошло по крайней мере две минуты, прежде чем он заговорил.

– Послушай, Джек, – сказал он, – эта женщина дурачит нас обоих. Слышишь ли, она дурачит нас обоих! В Уэст-Инче она любит тебя, а на склоне холма – меня, а между тем в ее дьявольском сердце нет ни крошечки любви ни к одному из нас. Подадим друг другу руку, дружище, и проучим эту чертову девку!

Но это было чересчур. Я не мог проклинать ее в своем сердце, а еще менее того – стоять и слушать, как ее прокликает другой, несмотря на то, что это был мой старый приятель.

– Не бранись! – закричал я.

– Ах, мне делается тошно от твоих коротких речей! Я буду называть ее так, как ее следует называть.

– А, так ты будешь? – сказал я, стаскивая с себя сюртук. – Послушай, Джим Хорскрофт, если ты скажешь еще что-нибудь против нее, то я вобью тебе твои слова в горло, несмотря на то, что ты ростом с Бервикский замок. Только попробуй, и увидишь!

Он спустил было с себя сюртук до локтей, но затем опять не спеша натянул его на себя.

– Не будь таким глупцом, Джек! – сказал он. – В человеке редко бывает четыре стоны и пять дюймов. Два старых друга не должны ссориться из-за такой... ну, хорошо, больше я ничего не скажу. Ну, ей-богу же, она может иметь десять человек.

Я оглянулся и увидел ее, она стояла тут, всего на расстоянии каких-нибудь двадцати ярдов от нас, хладнокровная, спокойная и невозмутимая, между тем как мы разгорячились и были точно в лихорадке.

– Я уже дошла почти до дома, – сказала она, – но увидела, что вы, два мальчика, о чем-то спорите между собой, вот я и вернулась опять назад, чтобы узнать, в чем тут дело.

Хорскрофт бросился вперед и схватил ее за кисть руки. Посмотрев на его лицо, она взвизгнула, но он притащил ее к тому месту, на котором стоял я.

– Ну, Джек, довольно играть с нами комедию, – сказал он. – Вот она. Не спросить ли нам у нее, которого из нас она любит? Она не может нас обмануть теперь, когда мы тут оба вместе.

– Я согласен на это, – отвечал я.

– И я тоже. Если она пойдет к тебе, то клянусь тебе, что после этого никогда и не взгляну на нее. Сделаешь ли ты то же самое и для меня?

– Да, сделаю.

– Хорошо же, слушайте, вы! Оба мы – честные люди, друзья между собой и никогда другу другу не лжем. Итак, мы знаем, какая вы двуличная. Я знаю то, что вы сказали вчера вечером. Вы слышите? Так вот – говорите прямо и откровенно! Мы стоим тут перед вами; скажите сразу – и делу конец. Кто из нас двоих – Джек или я?

Вы, может быть, подумаете, что эта женщина не знала, куда деться от стыда? Да ничего подобного! Вместо этого ее глаза блестели от удовольствия, и я могу побиться об заклад, что это была лучшая минута в ее жизни. Когда она смотрела на нас попеременно, то на того, то на другого, и лицо ее было освещено утренним солнцем, поднявшимся еще невысоко, то она еще никогда не казалась мне такой привлекательной. Я уверен, что и Джим думал то же самое, потому что он выпустил ее руку из своей, и черты его лица, выражавшие суровость, смягчились.

– Ну, Эди, который же из нас? – спросил он.

– Шалуны-мальчишки, которые ссорятся из-за этого? – воскликнула она. – Кузен Джек, вы знаете, какое нежное чувство я питаю к вам.

– О, если так, то идите к нему! – сказал Хорскрофт.

– Но я не люблю никого, кроме Джима. Я никого не люблю так, как Джима.

Она прижалась к нему и положила свое лицо к нему на грудь.

– Ты видишь, Джек, – сказал он, смотря через ее плечо. Увидев это, я пошел от них в Уэст-Инч, но уже не таким человеком, каким вышел из него, а совсем другим.

Глава V. Человек, прибывший к нам из-за моря

Я не принадлежал к числу людей, которые постоянно жалуется на то, что им изменило счастье. Если дела нельзя поправить, то человек не должен больше упоминать о нем. У меня долго болело сердце; по правде сказать, если я вспомню об этом, то мне делается немножко больно и теперь, когда после всего этого прошло уже столько лет и я живу счастливо с женой, но я старался держать себя мужественно и, надо сказать прежде всего, что я поступил так, как обещал в этот день на склоне холма. Я был для нее братом, не больше, хотя бывали такие минуты, когда мне стоило большого труда удержать себя, потому что даже и теперь она иногда приходила ко мне со своими вкрадчивыми манерами и рассказывала о том, как груб был с ней Джим и как она бывает счастлива, когда я с ней ласков, и это потому, что она по своему характеру должна была говорить именно так, а не иначе.

Но, по большей части Джим и она были счастливы вместе. По всей окрестности распространился слух, что они поженятся, как только он получит ученую степень, и он приезжал в Уэст-Инч четыре раза в неделю, по вечерам, чтобы побыть с ней. Мои родные были довольны этим, и я старался показать, что мне это тоже приятно.

Может быть, в первое время между нами была некоторая холодность: мы относились друг к другу уже не с тем доверием, какое бывает между старыми школьными товарищами. Но затем, когда прошло острое горе, я нашел, что он поступил честно и по справедливости я не могу на него пожаловаться. Таким образом, мы остались, так сказать, в дружеских отношениях; что же касается до нее, то он позабыл весь свой гнев и готов был целовать следы, оставленные ее башмаками в грязи. Мы с ним вдвоем ходили гулять далеко, и вот об одной из этих прогулок я хочу вам рассказать.

Мы прошли всю Бремстонскую степь и обошли кругом те сосны, которые защищают дом майора Эллиота от морского ветра. Это было весной, и весна в этом году наступила ранняя, а потому в конце апреля деревья уже совсем оделись листвой. Было так тепло, как в летний день, а потому нас еще более удивило то, что на лужайке перед входной дверью дома майора был разведен большой огонь. Горела целая половина сосны, и языки пламени поднимались вверх до окон спальни. Мы с Джимом стояли и смотрели с удивлением, но мы удивились еще больше, когда из дома вышел сам майор с большой четвертной бутылкой в руке; за ним шла его старая сестра, которая вела у него хозяйство, и две служанки, и все они вместе начали прыгать вокруг огня. Он был смирным, кротким человеком – это было известно по всей округе, а теперь он, точно старый леший в пляске, прыгал, прихрамывая, вокруг огня и махал своей бутылкой с вином над головой. Мы бросились бежать к нему, а когда он увидал, что мы бежим, то стал махать ею еще больше.

– Мир! – кричал он во все горло. – Ура, друзья мои! Мир!

Услышав эти слова, мы оба принялись так же плясать и кричать, потому что это была такая утомительная война, какой мы не помнили, и нам казалось странным, что исчезла та тень, которая долгое время угрожала нам. На самом деле нам не верилось, что это так, но майор осмеял наши сомнения.

– Да, да, это правда! – закричал он, остановившись и опустив руку. – Союзники вошли в Париж, Бони все бросил, и его народ присягнул в верности Людовику Восемнадцатому.

– А что будет с императором? – спросил я. – Пощадят ли его?

– Поговаривают о том, что его нужно отослать на остров Эльба, так что он уже будет не в состоянии сделать какой-нибудь вред. Что касается до его военачальников, то между ними есть такие, от которых нельзя отделаться так легко. В течение последних двадцати лет были совершены такие подвиги, которых нельзя забыть. Надо бы свести кое-какие старые счета, но теперь – мир, мир!

И затем он опять принялся прыгать со своей большой бутылкой вокруг разведенного им костра.

Мы побыли некоторое время с майором и затем оба с Джимом пошли на взморье, разговаривая между собой об этом важном известии и о том, что может от него произойти. Он знал немного, а я еще меньше его, но все, что мы знали, мы сложили в одно целое и говорили с ним о том, что теперь упадут цены, что вернуться на родину наши храбрые солдаты, что корабли могут теперь спокойно плыть, куда им нужно, что мы уничтожим на берегу все сигнальные огни, потому что теперь уже нет врага, которого мы боялись. Так болтали мы с ним, идя по гладкому твердому песку и смотря вперед на старое Северное море. Джим и не подозревал в то время, когда он шагал рядом со мной, такой здоровый и бодрый, что достиг высшей точки в своей жизни и что с этого часа все у него пойдет под гору.

Над морем лежал небольшой туман; ранним утром туман был густой, а теперь он разрядился от солнца. Посмотрев на море, мы вдруг увидели, что из-за тумана показался парус небольшой лодки, которая, раскачиваясь, приближалась к земле. В ней сидел только один человек, и она вертелась в разные стороны, как будто бы тот, кто сидел в ней, и сам не знал, причалить ли к берегу или нет. Наконец, может быть ободренный нашим присутствием, он подплыл прямо к нам, и от киля лодки закрипел песок у самых наших ног.

Он спустил парус, выскочил из лодки на землю и втащил ее корму на берег.

– Великобритания, полагаю? – спросил он, быстро повернувшись к нам и смотря нам прямо в лицо. Это был человек немного повыше среднего роста, но страшно худой. У него были пронизательные и находившиеся близко один от другого глаза, между которыми выдавался длинный острый нос, а под ним торчали, как щетина, усы каштанового цвета, жесткие и прямые, как у кошки. Он был одет хорошо – в коричневой паре с медными пуговицами и в высоких сапогах, которые заскорузли и потеряли свой глянец от морской воды. Лицо и руки были у него смуглые, так что его можно было счесть за испанца, но когда он, кланяясь нам, снял свою шляпу, то мы увидели, что верхняя часть лба была у него совершенно белой, так что у него было смуглое лицо оттого, что оно обветрилось. Он смотрел то на одного, то на другого из нас, и в его серых глазах было что-то такое, чего я не видывал прежде. Вы могли бы прочесть в нем вопрос, но казалось, что за этим вопросом следует угроза, как будто бы отвечать на этот вопрос следовало по праву, а не из любезности.

– Великобритания? – спросил он опять, а сам в это время нетерпеливо топал ногой по песку.

– Да, – сказал я, а Джим расхохотался.

– Англия? Шотландия?

– Здесь Шотландия, а вон за теми деревьями – Англия.

– Вот! Теперь я знаю, куда я попал. Я плыл в тумане без компаса почти целых три дня и думал, что мне уже не придется опять увидеть землю.

Он говорил по-английски довольно бегло, но иногда употреблял иностранные обороты речи.

– Откуда же вы прибыли? – спросил Джим.

– Я был на корабле, который потерпел крушение, – отвечал он коротко. – Какой это город, вон там?

– Это Бервик.

– А! Но мне нужно отдохнуть, прежде чем я отправлюсь дальше.

Он повернулся и пошел к лодке, но поскользнулся и непременно упал бы, если бы не ухватился за ее нос. Затем он сел на нее и смотрел вокруг себя с покрасневшим лицом и глазами, которые сверкали как у дикого зверя.

– Voltigeurs de la Garde!¹ – закричал он громким голосом, похожим на звук трубы, и затем опять: – Voltigeurs de la Garde!

Он помахал шляпой над головой и затем, бросившись прямо лицом на песок, он лежал так, свернувшись и представляя из себя маленькую кучку коричневого цвета.

Мы с Джимом Хорскрофтом стояли и смотрели с недоумением друг на друга. Нам казалось странным и прибытие этого человека, и его вопросы, и, наконец, его неожиданная выходка. Мы взяли его за плечи и перевернули на спину. И он лежал в таком положении со своим выдающимся вперед носом и колючими усами, но губы у него были совсем белые, и от его дыхания не пошевелинулось бы даже перо.

– Он умирает, Джим! – воскликнул я.

– Да, от голода и жажды. В лодке нет ни капли воды и ни крошки хлеба. Может быть, есть что-нибудь в этом мешке.

Он вскочил в лодку и принес оттуда черный кожаный саквояж; в лодке не было ничего, кроме этого саквояжа, да еще широкого плаща синего цвета. Саквояж был заперт, но Джим открыл его в одну минуту. Он был наполнен до половины золотыми монетами.

Ни один из нас никогда не видал столько денег – даже десятой части этой суммы. Тут были целые сотни монет – и все блестящие новые английские соверены. Мы так заинтересовались деньгами, что совсем позабыли о том, кому они принадлежали, но, наконец, мы услышали стон, который заставил нас вспомнить о нем. Его губы еще больше посинели, а нижняя челюсть отвалилась. Я мог видеть теперь его раскрытый рот с рядом белых зубов, похожих на зубы волка.

– Господи! Да он умирает! – воскликнул Джим. – Послушай, Джек, беги скорее к ручью и зачерпни шляпой воды. Да поскорее, а то он умрет. А я в это время раздену его.

Я пустился бежать со всех ног и через минуту вернулся назад с таким количеством воды, какое могло уместиться в моей гленгаррийской шляпе. Джим расстегнул скюртук и рубашку у незнакомца, мы облили его водой и с трудом влили ему несколько капель в рот. Это произвело хорошее действие. Он раз или два вздохнул глубоко, приподнялся и сидел, медленно протирая себе глаза, как человек, проснувшийся от глубокого сна. Но ни Джим, ни я не смотрели ему в лицо, а обратили внимание на его обнаженную грудь. На ней были видны две глубокие впадины красного цвета со сморщившейся кожей, одна под ключицей, а другая посередине груди ближе к правому боку. Кожа его тела, вплоть до самой загорелой шеи, была замечательно бела, и поэтому на ней еще ярче выделялись красные пятна с морщинами. Стоя над ним, я мог видеть, что в одном месте у него была такая же впадина и на спине, тогда как в другом ее не было. Хотя я был и неопытен, но я понял, что это значило. Он был ранен в грудь двумя пулями – одной навывлет, а другая так и осталась в нем.

Но вдруг он, пошатываясь, поднялся на ноги и запахнул на себе рубашку, бросив на нас быстрый подозрительный взгляд.

– Что я делал? – спросил он. – Я сам себя не помнил. Может быть, я сказал что-нибудь, но не обращайтесь на это внимания. Что, я кричал что-нибудь?

– Да, вы закричали перед тем, как упасть.

– Что же такое я закричал?

Я передал ему его слова, хотя для меня они не имели значения. Он пристально посмотрел на нас обоих и затем пожал плечами.

– Это слова одной песни, – сказал он. – Ну, теперь вопрос в том, что мне делать? Я не думал, что у меня сделается такая слабость. Откуда вы достали воды?

¹ Гвардейская вольтижировка (*фр.*).

Я указал ему на ручей, и он пошел, шатаясь, к берегу. Он лег ничком ипил очень долго – я думал, что он никогда не кончит. Он, точно лошадь, вытянул свою длинную худую шею и громко чавкал губами. Наконец, глубоко вздохнув, он поднялся на ноги и отер себе усы руками.

– Теперь мне лучше, – сказал он. – Нет ли у вас чего-нибудь поесть?

Перед уходом из дома я сунул себе в карман два куса лепешки из овсяной муки; он положил себе их в рот, разжевал и проглотил. Затем он выпрямил плечи, выпятил грудь и ладонями погладил себя по ребрам.

– Право, я чрезвычайно обязан вам, – сказал он. – Вы были очень добры к незнакомому человеку. Но я вижу, что вы сумели открыть мой мешок.

– Когда вам сделалось дурно, то мы думали, что найдем в нем вино или водку.

– Ах! У меня в нем только небольшие – как вы называете это – деньги на черный день. Это небольшая сумма, но я могу спокойно жить на нее до тех пор, пока не найду себе какого-нибудь дела. А здесь, как мне кажется, можно жить спокойно. Я попал в самое тихое место; здесь, кажется, и жандарма встретишь только в городе.

– Но вы не сказали нам, кто вы такой, откуда и какая ваша профессия, – сказал напрямик Джим.

Незнакомец смерил его с головы до ног испытующим взглядом.

– Вы годились бы в гренадеры во фланговую роту, честное слово, – сказал он. – Что же касается ваших вопросов, то я обиделся бы, если бы услышал их не от вас, а от кого-нибудь другого. Но вы имеете право узнать, что я за человек, потому что вы так радушно меня приняли. Меня зовут Бонавентур де Лапп. По профессии я солдат и путешествую; я приехал из Дюнкиркена – название этого города вы можете видеть на лодке.

– А я думал, что вы потерпели кораблекрушение! – сказал я. Но он посмотрел мне прямо в глаза, как честный человек.

– Это правда, – сказал он, – но корабль плыл из Дюнкиркена, и это одна из его шлюпок. Экипаж пересел в баркас, а корабль пошел ко дну так быстро, что я не успел захватить что-нибудь с собой в шлюпку. Это было в понедельник.

– А сегодня четверг. Значит, целых три дня у вас куса во рту не было?

– Да, это очень долго, – сказал он. – Раньше этого я два раза был в таком положении по два дня, но никогда так долго, как теперь. Ну, я оставлю здесь мою шлюпку и поищу себе помещение в одном из этих маленьких серых домиков на склоне холмов. По какой причине у вас горит вон тот большой огонь?

– Там живет один из наших соседей, который служил на военной службе и сражался с французами. Он празднует нынешний день, потому что объявлено о заключении мира.

– О, так у вас есть такой сосед, который был военным! Я рад этому, потому что и я тоже участвовал в сражениях в разных местах.

У него был печальный взгляд, и он нахмурил брови над своими пронизательными глазами.

– Ведь вы француз, не правда ли? – спросил я, когда мы все трое поднимались вверх по холму; он нес в руке свой черный мешок, а его длинный синий плащ свешивался у него с плеча.

– Как вам сказать? Я из Эльзаса, а в Эльзасе живут скорее немцы, чем французы. Что касается меня, то я видел так много стран, что везде чувствую себя как дома. Я очень много путешествовал. Как вы думаете, где я могу найти себе помещение?

После этого события прошло целых тридцать пять лет, и теперь я не могу передать, какое впечатление произвел тогда на меня этот странный человек. Помнится, что я не доверял ему, но вместе с тем он меня обворожил, потому что в его осанке, его взгляде и в его разговоре было что-то такое, чего я никогда не встречал прежде. Джим Хорскрофт был красив собой, а майор Эллиот – храбрый человек, но им обоим недоставало того, что было в этом путешественнике, а именно: быстрого, живого взгляда, блеска в глазах, какого-то изящества, которое

нельзя выразить словами. А кроме того, мы спасли его, когда он лежал, бездыханный, на песке, а человек всегда питает нежное чувство к тому, кому он помог в беде.

– Если вы захотите пойти со мной, – сказал я, – то я могу поручиться, что найду место, где вы сможете переночевать день или два, а в это время вы, несомненно, изыщете возможность устроиться по вашему желанию.

Сняв шляпу, он необыкновенно грациозно поклонился мне. Но Джим Хорскрофт, дернув меня за рукав, отвел в сторону.

– Ты с ума сошел, Джек, – сказал он мне на ухо. – Этот человек не больше как искатель приключений. К чему ты связываешься с ним?

Но трудно было найти человека упрямее меня, и если бы вы вздумали меня оттолкнуть, то это было бы самое лучшее средство выдвинуть меня вперед.

– Он иностранец, – сказал я, – и помочь ему – это наша обязанность.

– Ты пожалеешь об этом, – сказал Джим.

– Может быть, и пожалею.

– Если ты не думаешь о себе, то должен подумать о своей кухне.

– Эди может и сама позаботиться о себе.

– Ну так, черт бы тебя побрал, делай как знаешь! – воскликнул он, вспыхнув. И, не пропустившись с нами, он пошел по той дороге, которая вела к дому его отца.

Бонавентур де Лапп с улыбкой посмотрел на меня, когда мы с ним пошли дальше.

– Я так и думал, что не нравлюсь ему, – сказал он. – Я очень хорошо понимаю, что он поссорился с вами из-за того, что вы ведете меня к себе в дом. Что же он думал обо мне? Он, может быть, думает, что золото у меня в мешке – краденое, или чего еще он боится?

– Молчите, я ничего не знаю и ни о чем не думаю. Мы всегда накормим странника, проходящего мимо нашего дома, и дадим ему ночлег.

Подняв голову, в полной уверенности, что я делаю что-то очень хорошее и никак не думая, что к югу от Эдинбурга не найдется человека глупее меня, я гордо выступал по дороге, а рядом со мной шел и мой новый знакомый.

Глава VI. Странствующий орел

По-видимому, и мой отец был того же мнения, как и Джим Хорскрофт, потому что он не очень радушно встретил этого незнакомого гостя и очень подозрительно осмотрел его с головы до ног. Но он все-таки поставил перед ним блюдо селедок в уксусе, и я заметил, что он стал еще подозрительнее смотреть на моего спутника, когда тот съел девять селедок за раз, потому что нам полагалось только по две селедки на каждого. Когда Бонавентур де Лапп кончил свой ужин, то у него начали слипаться глаза, потому что, по-видимому, он не только не ел, но и не спал все эти три дня. Комната, в которую я его провел, имела довольно жалкий вид, но, несмотря на это, он бросился на постель и, завернувшись в свой большой синий плащ, моментально заснул. Он очень громко храпел, а так как моя комната была рядом с той, в которой он спал, то я не мог ни на минуту забыть о том, что у нас в доме находится незнакомый человек.

Когда на другой день поутру я сошел вниз, то увидел, что он встал раньше меня, потому что он сидел напротив моего отца у стола в кухне, приставленного к окну; их головы почти соприкасались, и между ними лежал небольшой столбик золотых монет. Когда я вошел в комнату, то мой отец поднял голову кверху и посмотрел на меня, и в его глазах видна была алчность, чего я никогда не замечал у него прежде. Он поспешно схватил деньги и спрятал их в свой карман.

– Очень хорошо, мистер, – сказал он, – комната за вами, и вы всегда будете платить каждый месяц третьего числа.

– Ах, вот и мой приятель, с которым я познакомился раньше вас! – воскликнул де Лапп и протянул мне руку с улыбкой, хотя и ласковой, но в ней чувствовалось что-то покровительственное: такая улыбка бывает у человека, когда он обращается к своей собаке. – Теперь я совсем оправился, благодаря тому, что прекрасно поужинал и хорошо спал ночью. Ах, голод отнимает у человека мужество – главным образом голод, а затем холод.

– Да, это правда, – сказал мой отец. – Во время метели я пробыл в степи тридцать шесть часов и знаю, что это значит.

– Я видел однажды, как три тысячи человек умерли от голода, – заметил де Лапп, протягивая руки к огню. – Они худели день ото дня и становились все более и более похожими на обезьян; они подошли к краям понтонов, на которых мы их держали, и подняли вой от ярости и от боли. Первые дни их вой слышен был по всему городу, но через неделю наши часовые, стоявшие на берегу, уже не могли слышать их, потому что они ослабели.

– И они умерли! – воскликнул я.

– Они выдерживали очень долго. Это были австрийские гренадеры из корпуса Старовица, видные собою, крепкие люди, такого же роста, как ваш приятель, которого я видел вчера; но когда город был взят, их осталось в живых только четверста человек, и один человек мог поднять их троих за раз, как будто бы это были маленькие обезьянки. На них жалко было смотреть... Ах, друг мой, познакомьте меня с *madame* и *mademoiselle*.

В это время в кухню вошли моя мать и Эди. Он не видел их накануне вечером, но когда я посмотрел на него теперь, то едва удержался от смеха, потому что вместо того, чтобы просто кивнуть головой, как было принято у нас в Шотландии, он согнул спину, как форель, которая хочет нырнуть, шаркнул ногой и пресмешно прижал руку к сердцу. Моя мать с недоумением смотрела на него: она думала, что он смеется над ней; но кузина Эди сейчас же ответила ему тем же, точно это была какая-нибудь игра, – она присела так низко, что я подумал: «Она теперь уже не сможет встать и сядет прямо на пол посередине кухни». Но ничуть не бывало: она поднялась так легко, как пух, и затем мы все подвинули к столу стулья и принялись за булки с молоком и похлебку.

Надо было только удивляться тому, как этот человек умел обращаться с женщинами. Если бы мы, то есть я и Джим Хорскрофт, вели себя так, как он, то это имело бы такой вид, что мы дурачимся, и молодые девушки смеялись бы над нами; но у него это как будто бы гармонировало с выражением лица и манерой говорить, так что наконец мы к этому привыкли; потому что когда он обращался к моей матери или к кузине Эди – а он охотно говорил с ними, – то всегда с поклоном и со взглядом, выражавшим, что они едва ли удостоены выслушать то, что он хочет сказать, а когда они отвечали ему, то его лицо принимало такое выражение, как будто бы всякое их слово было сокровищем, которое нужно беречь и всегда хранить в своей памяти. И, несмотря на все это, даже и тогда, когда он унижал себя перед женщинами, в его взгляде всегда просвечивала какая-то гордость, как будто бы он хотел выразить, что это только с ними он обращается так мягко и что при случае он может быть суровым. Что касается моей матери, то она удивительно смягчилась в своем обращении с ним и рассказала ему решительно все о своем дяде, который был доктором в Карлейле и самым видным лицом из родственников с ее стороны. Она рассказала ему также и о смерти моего брата Роба. Я никогда не слышал, чтобы она говорила об этом с кем-нибудь прежде, и мне показалось, что у него были слезы на глазах, – у него, который видел, как умерли от голода три тысячи человек! Что касается Эди, то она говорила мало, но только время от времени поглядывала на нашего гостя, и раз или два он очень пристально посмотрел на нее. Когда он после завтрака ушел в свою комнату, то отец вынул из кармана восемь золотых монет и положил их на стол.

– Что ты думаешь об этом, Марта? – спросил он.

– Ты, должно быть, продал двух черных баранов.

– Нет, это месячная плата за помещение и стол, которую я получил от знакомого Джека, и через четыре недели мы опять получим столько же.

Но, услышав это, моя мать покачала головой.

– Два фунта стерлингов в неделю – это очень много, – сказала она, – и мы не должны бы брать такую выгодную плату за стол с этого бедного джентльмена, который находится в бедственном положении.

– Молчи! – закричал отец. – Он в состоянии заплатить такие деньги – у него есть мешок, который наполнен золотом. А потом он сам предложил такую цену.

– Эти деньги не принесут нам добра, – сказала она.

– Да он, жена, вскружил тебе голову своей иностранной манерой говорить! – воскликнул отец.

– Да, хорошо было бы, если бы мужчины-шотландцы немножко поучились у него ласковому обращению, – сказала она, и я в первый раз в жизни услышал, что она ему так ответила.

Вскоре после этого де Лапп сошел вниз и спросил у меня, не пойду ли я с ним погулять. Когда мы с ним шли по солнцу, то он вынул маленький крестик из красных камней. Это была такая красивая вещица, какой я еще никогда не видал.

– Это рубины, – сказал он, – и я купил этот крестик в Туделе, в Испании. Таких крестиков было у меня два, но другой я отдал одной девушке-литвинке. Прошу вас, возьмите его от меня на память в знак моей благодарности, так как вы были очень добры ко мне вчера. Из него можно сделать булавку для галстука.

Я мог только поблагодарить его за подарок, потому что у меня еще никогда не было такой дорогой вещи.

– Я иду на верхнее пастбище считать ягнят. Может быть, и вы пойдете вместе со мной для того, чтобы посмотреть окрестности?

С минуту он был в нерешительности, но затем покачал головой.

– Мне нужно как можно скорее написать некоторые письма. Я думал, что нынче утром мне следует остаться дома и написать их.

Я все время до полудня ходил по берегам реки, и вы можете легко представить себе, что у меня не выходил из головы этот странный человек, которого случай привел в наш дом. Где он приобрел такую осанку, такую манеру повелевать и этот надменный грозный взгляд? А как много он испытал в своей жизни, хотя не придавал этому большого значения! Надо думать, что удивительною была его жизнь, если уж ему пришлось испытать все это. Он был ласков с нами и говорил учтиво, но, несмотря на это, я не мог заглушить в себе недоверие, с которым относился к нему. Может быть, Джим Хорскрофт был и прав, а я сделал ошибку, что привел его в Уэст-Инч.

Когда я вернулся домой, то он имел такой вид, как будто бы с малых лет привык к сидячей жизни. Он сидел у огня в деревянном кресле с черной кошкой на коленях. Расставив руки, он держал на них моток шерсти, которую моя мать проворно наматывала на клубок. Около него сидела кузина Эди, и я увидел по ее глазам, что она плакала.

– Что это значит, Эди? – сказал я. – Что вас так огорчило?

– Ах, у *mademoiselle*, как у всех добрых и правдивых женщин, нежное сердце, – сказал де Лапп. – Я не думал, что это так растрогает ее, а иначе я не стал бы говорить. Я рассказывал о том, какие мучения претерпевали некоторые полки, о которых я кое-что знаю, когда они переходили через горы Гвадарамы зимой в 1808 году. Ах да! Дело было очень плохо, потому что это были отличные солдаты и на прекрасных лошадях. Кажется странным, что ветер может сдуть людей к пропасти, но было так скользко, а держаться не за что. Поэтому в пехотных ротах солдаты сцепились друг с другом оружием, и это им помогло; но когда я взял одного артиллериста за руку, то она отвалилась, потому что была отморожена три дня тому назад.

Я стоял и с удивлением смотрел на него.

– Также и старые гренадеры, которые уже не были так проворны, как прежде, не могли не отставать; и если они отставали, то их ловили крестьяне, которые распинали их на дверях амбаров, ногами кверху, а под головой разводили огонь, так что жаль было смотреть на этих славных старых служак. А потому когда они не могли идти дальше, то стоило посмотреть на то, что они делали; они садились на землю и читали молитвы, кто сидел в седле, а кто на своем ранце; затем они снимали с себя сапоги и носки и опирались подбородком на дуло ружья. После этого они нажимали большим пальцем ноги на курок – паф! – и все было кончено: этим славным старым гренадерам уже не нужно было идти дальше. О, как трудно было подниматься по этим Гвадарамским горам!

– Какая же это была армия? – спросил я.

– О, я служил во стольких армиях, что часто смешиваю их одну с другой. Да, я много раз был на войне. Кстати, я видал, как дерутся ваши шотландцы, и из них выходят очень стойкие пехотинцы, но, насмотревшись на них, я думал, что здесь все у вас носят – как вы называете это? – юбки?

– Это коротенькие шотландские юбки (*kilts*), их носят только в горах.

– Ах! В горах? Но я вижу там какого-то человека. Может быть, это тот самый, про которого ваш отец говорил мне, что он отнесет мои письма на почту?

– Да, это работник фермера Цайтгеда. Отдать ему ваши письма?

– Он будет больше беречь их, если получит из ваших рук.

Он вынул письма из кармана и подал их мне. Я вышел с ними из дома и дорогой случайно взглянул на адрес того письма, которое было наверху. На конверте крупным и разборчивым почерком было написано следующее:

Его величеству шведскому королю. В Стокгольм.

Я знал очень мало по-французски, но эти слова я понял. Какой это орел залетел в наше скромное маленькое гнездо?

Глава VII. Сторожевая башня в Корримюре

Мне самому показалось бы скучным, и я уверен, что наскучило бы и вам, если бы вздумал рассказывать, как шла у нас жизнь после того, как этот человек поселился у нас в доме, или о том, как он мало-помалу заслужил расположение у всех членов нашей семьи. Что касается женщин, то это было сделано им очень скоро; но вскоре он расположил в свою пользу также и моего отца, что было совсем нелегко, и приобрел расположение Джима Хорскрофта и мое. На самом деле мы были в сравнении с ним только два больших мальчика, потому что он везде побывал и все видел; и по вечерам он, говоря неправильным английским языком, заставлял нас забывать, что мы сидим в нашей простой кухне и ничего не видим, кроме маленькой фермы, и переносил нас ко дворам разных государств, в лагерь, на поля сражений и показывал нам все чудеса, которые делаются на свете. Сначала Хорскрофт был довольно груб с ним, но де Лапп, благодаря своему такту и непринужденному обращению, сумел поладить с ним и, наконец, совершенно покорило его сердце; и Джим сидит, бывало, держа в своей руке руку кузины Эди, и оба они, позабыв обо всем другом, слушают то, что он нам рассказывает. Я не буду передавать вам всего этого, но даже и теперь, после того, как прошло так много лет, я могу проследить, как он в продолжение следовавших одни за другими недель и месяцев такими-то словами и поступками переделал нас на свой лад.

Прежде всего он подарил моему отцу ту шляпку, в которой он приехал, оставляя за собой право взять ее обратно в том случае, если бы она ему понадобится. Так как осенью в этом году сельди плыли мимо берега, а мой дядя еще при жизни подарил нам целый комплект прекрасных сетей, то, благодаря подарку незнакомца, мы получили большой доход. Иногда де Лапп отправлялся на шляпке в море совершенно один; однажды летом он целый день плавал вдоль берега, и я видел, что он, опустив весло в воду, останавливается и бросает в море навязанный на веревку камень. Я не мог понять, для чего он это делает, пока он сам не разъяснил мне, в чем дело.

– У меня страсть изучать все, что относится к войне, – сказал он, – и я всегда пользуюсь удобным случаем. Я думал о том, трудно ли будет командиру какого-нибудь армейского корпуса высадить на этом берегу солдат.

– Да, если только не будет дуть восточный ветер.

– Ах! Совершенно верно, если только не будет дуть восточный ветер. А что, вы измеряли глубину моря в этом месте?

– Нет.

– Ваша линия военных кораблей должна находиться в море, но здесь довольно воды, так что сорокапушечный фрегат может подойти на расстояние ружейного выстрела. Насажайте в шляпки побольше стрелков, разверните их за этими песчаными холмами и затем отправляйтесь назад еще за стрелками, стреляйте картечью над их головами с фрегатом. Это может быть сделано! Это может быть сделано!

У него ошетинились усы, и он сделался еще больше похож на кошку, и, судя по тому, как блестяли у него глаза, я понял, что мечты унесли его далеко.

– Вы забываете, что на берегу будут наши солдаты, – сказал я с негодованием.

– Та, та, та! – воскликнул он. – Разумеется, в сражении должны быть две противные стороны. Посмотрим теперь, давайте развивать наш план. Сколько солдат вы в состоянии выставить? Ну, скажем – двадцать, тридцать тысяч. Несколько полков хороших солдат, остальное – пуф! Новобранцы, мирные жители с оружием. Как вы называете их – волонтеры.

– Это все храбрые люди, – громко закричал я.

– О да, очень храбрые люди, но глупые. Ах, mon dieu. Они будут невероятно глупы. Я хочу сказать, что глупы не одни они, но вообще вновь набранные войска. Они боятся того,

что будут бояться, и не примут никаких мер предосторожности. Ах, видал я все это! Я видел в Испании, как батальон новобранцев бросился в атаку на батарею, на которой было десять орудий. Они бросились так храбро! И вдруг склон холма, с вершины которого я смотрел, сделался похожим... как вы называете это по-английски?.. На пирог с малиновым вареньем. Куда делся наш прекрасный батальон новобранцев? Затем другой батальон вновь набранных солдат попытался овладеть батареей; они бросились все сразу со страшным криком. Но что может сделать крик против картечи? И вот все солдаты нашего второго батальона полегли на склоне холма. Затем взять батарею было приказано гвардейским пехотным стрелкам; и в их наступлении не было ничего красивого; они шли не колонной, без всякого крика, и ни один из них не был убит; стрелки шли врасыпную, а за ними следовали кучками резервы; но через десять минут пушки замолчали, и испанские артиллеристы были изрублены в куски. Воевать нужно учиться, мой друг, точно так же, как и разводить овец.

– Ну, нет! – сказал я, не желая, чтобы меня переспорил иностранец. – Если бы у нас было тридцать человек солдат на линии вон тех холмов, то вы были бы очень рады тому, что у вас за спиной есть на море шлюпки.

– На линии холмов? – сказал он, сверкнув глазами и окинув взглядом весь их ряд. – Да, если бы ваш полководец знал свое дело, то у него левый фланг был бы около того места, где стоит ваш дом, центр – в Корримюре, а правый – около дома доктора, и он выстроил бы во фронте густые ряды стрелков. Само собой разумеется, что его кавалерия старалась бы уничтожить нас по мере того, как мы выстраивались бы на берегу. Но если бы нам удалось выстроиться в порядке, то тогда мы знали бы, что делать. Тут есть слабый пункт, вон там, в незащищенном месте. Я стал бы стрелять в него из пушек, затем развернул бы мою кавалерию, пустил бы пехоту большими колоннами, и это крыло было бы уничтожено. Скажите, Джек, где были бы ваши волонтеры?

– Они шли бы по пятам за вашим арьергардом, – сказал я, причем оба мы с ним от души расхохотались, и этим обыкновенно и кончались наши споры.

Когда он вел подобные разговоры, то я думал иногда, что он шутит, но в то же время не был уверен в этом. Я хорошо помню, что как-то раз летним вечером, когда он сидел в кухне с моим отцом, Джимом и со мной после того, как женщины ушли спать, он завел разговор о Шотландии и о ее отношении к Англии.

– У вас прежде был свой король, и законы издавались для вас в Эдинбурге, – сказал он. – Когда вы подумаете о том, что теперь все идет из Лондона, разве это не наполняет вашу душу гневом и отчаянием?

Джим вынул изо рта свою трубку.

– Это мы поставили короля над англичанами, и если кто должен приходиться от этого в гнев, так это люди, живущие по ту сторону от нашей границы.

Очевидно, иностранец не ожидал такого ответа и замолчал на минуту.

– Но ведь ваши законы составляются там, и в этом, конечно, нет ничего хорошего, – сказал он наконец.

– Разумеется, было бы хорошо, если бы парламент собирался опять в Эдинбурге, – сказал мой отец, – но я так занят своими овцами, что у меня нет времени подумать о таких вещах.

– Это таким молодым людям, как вы двое, нужно подумать об этом, – сказал де Лапп. – Когда страну притесняют, то это дело молодежи – отомстить за нее.

– Да, англичане иногда слишком много позволяют себе, – сказал Джим.

– А если найдется много таких людей, которые разделяют это мнение, то почему же не составить из них полки и не идти прямо на Лондон? – воскликнул де Лапп.

– Это была бы чудесная небольшая прогулка, – сказал я со смехом. – А кто же повел бы нас?

Он вскочил с места, поклонился и, по своему смешному обыкновению, приложил руку к сердцу.

– Если вы позволите мне иметь эту честь! – воскликнул он. И затем, видя, что все мы смеемся, и сам начал также смеяться, но я уверен, что на самом деле он и не думал шутить. Я никак не мог догадаться, сколько ему лет, точно так же, как и Джим Хорскрофт. Иногда нам казалось, что это уже пожилой человек, который моложав на вид. Его каштановые жесткие волосы, которые он носил коротко остриженными, не нужно было стричь на макушке, где они разредились, и сквозь них просвечивала плешь. Его лицо было также покрыто целую сетью пересекающихся в разных направлениях морщин и сильно загорело от солнца, как я уже упоминал о том выше. Но у него был такой гибкий стан, как у мальчика, и вместе с тем он был так крепок, как китовый ус, – он целый день бродил по холмам или плывал по морю и нисколько не уставал. Вообще, мы полагали, что ему около сорока или сорока пяти лет, хотя трудно было поверить тому, что в таком возрасте в нем так много жизни. Однажды мы разговорились о летах, и тут он удивил нас. Я сказал, что мне только что исполнилось двадцать лет, а Джим сказал, что ему – двадцать семь.

– Значит, я самый старший из нас троих, – сказал де Лапп.

Мы засмеялись над этим: по-нашему выходило, что он почти годится нам в отцы.

– Но я немногим старше, – сказал он, подняв брови дугой. – В декабре мне исполнилось двадцать девять.

И именно это заявление, даже более чем все его разговоры, убедило нас в том, что жизнь этого человека была незаурядная. Увидав, что мы удивились, он засмеялся.

– Я жил! Я жил! – воскликнул он. – Я тратил не понапрасну дни и ночи. Я вел вперед роту в битве, где сражались пять народов, когда мне было только четырнадцать лет. Я заставил одного короля побледнеть от слов, которые шепнул ему на ухо, когда был двадцатилетним юношей. Я участвовал в государственном перевороте и возвел нового короля на трон одного великого государства. Mon Dieu! Я пожил на свете!

Это было все, что мы могли узнать от него о его прошлой жизни, но он всегда только покачивал головой и смеялся, когда мы старались выпытать у него и еще что-нибудь. Иногда нам казалось, что это был только ловкий обманщик, потому что зачем было скитаться без дела в Бервикшире человеку с таким большим весом и с такими талантами? Но однажды произошел такой инцидент, который доказал нам, что его прошлая жизнь принадлежала истории. Вы помните, что неподалеку от нас жил один отставной офицер, побывавший на полуострове, тот самый, который плясал вокруг костра со своей сестрой и двумя служанками. Он отправился в Лондон хлопотать о своей пенсии и о вспомоществовании, потому что был ранен, а также и о том, чтобы достать себе какое-нибудь занятие, так что вернулся домой только поздно осенью. В один из первых дней своего приезда он пришел повидаться с нами, и тут в первый раз он увидел де Лаппа. Никогда я не видал в своей жизни такого удивленного лица, какое было у него, когда он долго и пристально смотрел на нашего приятеля, не говоря ни слова. Де Лапп в свою очередь также пристально смотрел на него, но по глазам иностранца было видно, что он его не узнал.

– Я не знаю, кто вы, сэр, – сказал он наконец, – но вы так смотрите на меня, как будто бы видели меня прежде.

– Да, я и видал, – отвечал майор.

– Насколько мне известно, этого никогда не было.

– Но я побожусь, что было.

– Так где же это?

– В деревне Асторга, в восьмом году.

Де Лапп вздрогнул и опять пристально посмотрел на нашего соседа.

– Mon Dieu! Какая встреча! – воскликнул он. – А вы были английским парламентаром? Я очень хорошо помню вас, сэръ, – я говорю правду. Позвольте мне сказать вам слова два на ухо. – Он отвел его в сторону и с четверть часа говорил с ним по-французски с серьезным видом, жестикулируя руками и что-то объясняя, между тем как майор время от времени утвердительно кивал своей старой седой головой. Наконец, они, по-видимому, пришли к какому-то соглашению, и я слышал, как майор несколько раз повторил: «Parole d'honneur», а затем: «Fortune de la guerre», – это я понял очень хорошо, потому что у Бертуистля было хорошее преподавание. Но после этого я замечал, что майор никогда не говорил так бесцеремонно с нашим постояльцем, как говорили с ним мы, но всегда кланялся, когда обращался к нему, и обходился с ним с большим уважением, что нас удивляло. Я не раз спрашивал майора, что он знает о нем, но он всегда старался как-нибудь отделаться, и я не мог добиться от него никакого ответа.

Летом в этом году Джим Хорскрофт прожил все время дома, но поздно осенью он отправился опять в Эдинбург на зимние занятия, так как намеревался работать очень прилежно и, если бы только это ему удалось, получить весной ученую степень. Он сказал, что останется в городе и на Рождество; поэтому он и кузина Эди должны были распрощаться надолго; он имел намерение вывесить свою дощечку и жениться на ней, как только получит право практиковать. Я никогда не видал, чтобы какой-нибудь мужчина так нежно любил женщину, как он ее, и она также по-своему очень любила его, – потому что на самом деле она во всей Шотландии не нашла бы мужчины красивее его. Но когда речь заходила о свадьбе, то мне казалось, что она немного колебалась при мысли, что все ее великолепные мечты окончатся только тем, что она сделается женой деревенского доктора. Но как бы то ни было, ей приходилось выбирать только между Джимом и мной, и она выбрала того из нас, который был лучше.

Конечно, тут был также и де Лапп, но мы всегда чувствовали, что он был человеком совсем другого сорта, а потому он не шел в счет. В то время я не знал хорошенько, нравился ли он Эди или нет. Когда Джим был дома, то они не обращали друг на друга почти никакого внимания. Но после того как он уехал, они чаще бывали вместе, что было вполне понятно, так как Джим отнимал у нее много времени. Раз или два она говорила со мной о де Лаппе в том смысле, что он ей не нравится, и, несмотря на то, она беспокоилась, когда его не было вечером; и надо сказать, что никто не любил так слушать его разговоры и не задавал ему так много вопросов, как она. Она заставляла его описывать те платья, которые носят королевы, и те ковры, по которым они ходят, спрашивала его о том, есть у них в волосах шпильки и много ли бывает у них перьев на шляпах, и я только дивился тому, как он мог найти на все это ответ. А между тем у него всегда был готов ответ; он с такой охотой и так быстро отвечал ей и так старался ее забавлять, что я только удивлялся тому, что он ей не нравится.

И вот прошли лето, осень и большая часть весны, а мы по-прежнему жили очень счастливо вместе. Наступил уже 1815 год, а великий император все еще томился на Эльбе, и посланники всех государств спорили в Вене о том, что делать со шкурой льва после того, как они его совсем затравили. А мы в нашем маленьком уголке Европы не оставляли нашего скромного мирного занятия, ходили за овцами, посещали бервикские ярмарки, на которых продавался скот, а по вечерам болтали, сидя у печки, в которой ярко пылал торф. Мы никогда не думали, что то, что делают все эти высокопоставленные и могущественные люди, может иметь какое-нибудь отношение к нам; а что касается войны, то все были того мнения, что тень великого человека уже никогда не упадет на нашу страну и что если только союзники не поссорятся между собой, то во всей Европе в течение пятидесяти лет не будет слышно ни одного выстрела.

Но при всем том случился один инцидент, который вырисовывается в моей памяти со всеми подробностями. Мне помнится, что это случилось приблизительно в феврале вышеупомянутого года, и я расскажу вам о нем прежде, чем пойду дальше.

Вы знаете, какой вид имеют находящиеся на границе сторожевые укрепления, – я уверен в этом. Это были четырехугольные башни, выстроенные в разных местах пограничной линии для того, чтобы служить местом убежища народу против нашествия грабителей. Когда Перси со своим войском переходил границу, то народ загонял свой скот на двор башни, запирали большие ворота и зажигал огонь в жаровне на вершине, что делали также и на всех других сторожевых башнях, и, наконец, огни доходили до Каммермурских холмов, и таким образом известие передавалось в Пентланд и в Эдинбург. Но само собой разумеется, что теперь все эти старые башни покосились и обрушиваются, представляя собой такие места, в которых диким птицам очень удобно вить гнезда. Я нашел много прекрасных яиц для своей коллекции в Корримюрской сторожевой башне. Однажды я ходил очень далеко, за холмы, с поручением к семейству Ледло Амстронг, которое живет в двух милях от нас по ту сторону Эйтона. В пять часов, незадолго до захода солнца, я шел по тропинке по склону холма; прямо передо мной виднелась остроконечная крыша Уэст-Инча, а налево от меня была старая сторожевая башня. Я повернулся и посмотрел на башню, потому что она казалась очень красивой, так как была вся освещена красноватым светом заходящего солнца, лучи которого падали прямо на нее, а за нею простиралось на далекое пространство синее море, и когда я пристально смотрел на нее, то вдруг увидел, что в одном из отверстий стены мелькнуло лицо какого-то человека.

И вот я стоял и думал, что бы такое это могло значить: что мог делать кто-нибудь в этом месте? Птицы еще не начинали вить гнезд – для этого было слишком рано. Это было так странно, что я решился разузнать, в чем дело, а потому, несмотря на усталость, я не пошел домой, но повернул в сторону и направился к башне, стараясь идти как можно скорее. Все это место до самой стены покрыто травой, так что не было слышно шума моих шагов, и я дошел до обрушившейся арки – места, где прежде были ворота. Заглянув в башню, я увидел, что там стоит Бонавентур де Лапп и смотрит из того самого отверстия, в котором я видел его лицо. Он стоял вполоборота, и я сейчас же увидел, что он совсем не замечает меня, потому что он смотрел во все глаза в том направлении, где находился Уэст-Инч. Когда я сделал еще несколько шагов вперед, то у меня под ногами захрустел щебень, лежавший в воротах, и тут он вздрогнул, обернулся и посмотрел мне прямо в глаза.

Но этого человека ничем нельзя было сконфузить; он нисколько не изменился в лице, как будто бы ждал меня давным-давно, но что-то в его глазах говорило мне, что он дорого бы дал за то, чтобы я опять пошел своей дорогой вниз по склону холма.

– Эй! – сказал я. – Что вы тут делаете?

– И я могу предложить вам такой же вопрос.

– Я пришел сюда потому, что увидел в окне ваше лицо.

– А я потому, что, как вы, вероятно, заметили, очень интересуюсь всем, что имеет какое-нибудь отношение к войне, и, разумеется, в числе таких вещей меня интересуют и укрепления. Извините меня, дорогой мой Джек, я вас оставлю на минуту. – И с этими словами он вдруг выскочил в отверстие в стене, как будто бы для того, чтобы скрыться от меня.

Но меня разбирало любопытство, и я не мог удовольствоваться его извинением. Я быстро вышел из башни, чтобы посмотреть, что он делает. Он стоял на открытом месте и отчаянно махал рукой, как бы подавая кому-то сигнал.

– Что такое вы делаете? – закричал я и побежал к нему, стал с ним рядом и смотрел в степь, чтобы увидеть, кому он подает знак.

– Вы слишком много позволяете себе, сэръ, – сказал он с сердцем. – Я никогда не думал, что вы дойдете до этого. Порядочный человек волен поступать так, как считает нужным, и вы не должны за ним подглядывать. Если мы с вами останемся друзьями, то вы не должны вмешиваться в мои дела.

– Я не люблю этих секретных дел, – сказал я, – да и мой отец тоже не любит их.

– Ваш отец может говорить сам за себя, и тут нет никакой тайны, – сказал он коротко. – Это только вы вообразили себе, что здесь кроется какая-то тайна. Та, та, та! Я не выношу таких глупых выдумок.

Он повернулся ко мне спиной, даже не кивнув мне, и быстро пошел по направлению к Уэст-Инчу. И я пошел вслед за ним в самом мрачном настроении: у меня было предчувствие, что вскоре случится какое-то несчастье, хотя я никак не мог объяснить, что значило все то, что я видел. И опять я стал ломать себе голову над тем, для чего приходил сюда этот таинственный незнакомец, который так долго живет у нас. А затем, кого он поджидал в сторожевой башне? Не был ли он шпионом и, может быть, какой-нибудь другой шпион, его собрат по ремеслу, приходил сюда, чтобы переговорить с ним? Но все это нелепо. Что можно было высмотреть в Бервикшире? А кроме того, майор Эллиот знал, кто он такой, и если бы он был дурным человеком, то майор не стал бы оказывать ему такого уважения.

Я только додумался до этого, как вдруг услышал, что кто-то весело окликнул меня, а это был сам майор, который шел из своего дома и спускался вниз по холму со своим большим бульдогом Боундером, которого он вел на сворке. Это была свирепая собака, которая наделала немало бед в окрестности, но майор очень любил ее и никогда не выходил без нее из дома, хотя он водил ее на привязи – на довольно толстой ременной сворке. И вот в то самое время, когда я смотрел на майора и ждал, чтобы он подошел ко мне поближе, он споткнулся, потому что зацепился хромой ногой за ветку дикого терна; стараясь прийти в настоящее положение, он выпустил из рук сворку, и проклятая собака сейчас же пустилась стрелой вниз по холму и бежала прямо ко мне. Скажу вам откровенно, мне это было очень неприятно, потому что кругом нигде не было видно ни палки, ни камня, а я знал, что это было опасное животное. Оставшийся сзади майор громко кричал ей, но собака, я полагаю, думала, что он науськивает ее, и бешено мчалась вперед. Я знал ее кличку и подумал, что, может быть, это послужит мне на пользу, а потому, когда она подбежала ко мне с ошетилившейся шерстью и приплюснутым носом между налитыми кровью глазами, то я, насколько хватило у меня голоса, начал кричать: «Боундер! Боундер!» Это произвело желаемое действие, потому что собака, рыча, пробежала мимо меня и помчалась по тропинке по следам Бонаventura де Лаппа.

Услыша крик, он обернулся и, по-видимому, сразу понял, в чем дело, но не прибавил шага. Я от всей души желал помочь ему, потому что собака никогда не видала его прежде, и со всех ног побежал вперед для того, чтобы оттащить от него собаку. Когда она подбежала к де Лаппу и увидела указательный и большой палец его протянутой назад руки, которые двигались, то почему-то ее бешенство утихло, и мы увидели, что она вертит своим похожим на обрубок хвостом и облапила его за колени.

– Так это ваша собака, майор? – спросил он, когда к нему подошел, прихрамывая, ее хозяин. – Ах, какое славное животное, какая чудесная, красивая собака!

Майор тяжело дышал, потому что он пробежал это пространство почти так же быстро, как и я.

– Я боялся, чтобы она вас не укусила, – говорил, задыхаясь, майор.

– Та, та, та! – воскликнул де Лапп. – Это красивое смирное животное; я очень люблю собак. Но я рад, что встретился с вами, майор, потому что вот этому юному джентльмену, которому я так обязан, пришло в голову, что я – шпион. Не правда ли, Джек?

Меня так смутили его слова, что я не мог сказать ни слова в ответ, но весь покраснел и смотрел исподлобья, как неуклюжий деревенский парень, каким я был.

– Вы знаете меня, майор, – сказал де Лапп, – и скажете ему, что этого не может быть, – я уверен в этом.

– Нет, нет, Джек! Конечно, не может быть! Конечно, не может быть! – воскликнул майор.

– Благодарю вас, – сказал де Лапп. – Вы меня знаете и будете ко мне справедливы. Ну а вы как поживаете? Надеюсь, что теперь вашему колену лучше и что вам скоро опять дадут ваш полк?

– Я чувствую себя сносно, – отвечал майор, – но мне дадут место только в том случае, если будет война, а покуда я жив, войны уже больше не будет.

– О, вы так думаете! – сказал с улыбкой де Лапп. – Хорошо, nous verrons! Мы это увидим, мой друг!

Он проворно снял шляпу и, быстро повернувшись назад, пошел по направлению к Уэст-Инчу. Майор стоял в раздумье и смотрел ему вслед, а затем спросил у меня, почему я подумал, что он шпион. И когда я рассказал ему обо всем, он ничего не ответил мне на это, но покачал головой и при этом имел такой вид, как будто его что-то тревожило.

Глава VIII. Прибытие катера

После этого маленького инцидента в сторожевой башне я уже не мог относиться к нашему постояльцу так, как относился к нему прежде. Я не забывал того, что он держит от меня что-то в тайне или, выражаясь точнее, что он сам был для меня загадкой, так как он всегда накидывал завесу на свое прошлое. И когда эта завеса случайно приподнималась на минуту, то мы всегда мельком видели за ней кровопролитие, насилие и разные ужасы. И самый вид его тела был ужасен. Как-то раз летом я купался с ним, и тут я увидел, что у него на всем теле были рубцы от ран. Не говоря уже о семи или восьми рубцах или шрамах, у него на одном боку были искривлены ребра и оторвана часть одной из икр. Увидя на моем лице удивление, он, по своей привычке, весело рассмеялся.

– Казаки! Казаки! – сказал он, проводя рукой по своим рубцам. – А ребра были переломаны артиллерийской фурой. Плохо приходится тому, через кого переедут пушки. Что касается кавалерии, то это ничего не значит. Как бы ни скакала быстро лошадь, она выбирает дорогу. Когда я лежал на земле, то проехало полтораста кирасиров и русские гродненские гусары, и я нисколько не пострадал от этого. Но от пушек приходится плохо.

– А икра? – спросил я.

– Pouf! А это меня кусали волки, и больше ничего, – сказал он. – Вы не можете себе и представить, как это со мной случилось. Поймите вы, что и лошадь и меня ранили; лошадь была убита, а я лежал на земле со сломанными фурой ребрами. Ну и холодно же было, страшно, страшно холодно! Земля – точно железо, раненым помогать некому, так что они замерзли и приняли такой вид, что на них было смешно смотреть. Я тоже чувствовал, что замерзаю, – что же оставалось мне делать? Я взял свою саблю, вскрыл, как мог, брюхо у моей мертвой лошади и устроил себе в ней место, чтобы можно было лечь, оставив себе только отверстие для рта. Sapristi! Там было довольно тепло. Но только там не доставало места для всего меня, так что мои ступни и часть ног высывались наружу. И вот ночью, когда я спал, пришли волки, чтобы есть лошадь, так вот они немножко пощипали также и меня, как вы видите; но после этого я был настороже с пистолетами, и поэтому им не пришлось больше полакомиться мной. Я прожил так целых десять дней, и мне было очень тепло и уютно.

– Десять дней! – воскликнул я. – А чем же вы питались?

– Как чем? Я ел лошадиное мясо, значит, у меня было помещение со столом, как вы это называете. Но, разумеется, я был настолько рассудителен, что ел ноги, а жил в туловище. Вокруг меня было много убитых, и я взял себе все их фляжки с водой, – стало быть, у меня было все, чего бы я ни пожелал. На одиннадцатый день тут проезжал патруль легкой кавалерии, и все кончилось благополучно.

Таким образом, он случайно в подобных разговорах, передавать которые я не считаю нужным, давал понятие о самом себе и проливал свет на свое прошлое. Но приближалось такое время, когда мы должны были узнать все, а как это случилось, это я и попытаюсь теперь рассказать вам.

Зима была холодная, но в марте показались первые признаки весны, и целую неделю у нас было солнце, и ветер дул с юга. Седьмого числа должен был приехать из Эдинбурга Джим Хорскрофт, потому что хотя занятия кончились первого числа, но он должен был посвятить еще неделю на экзамены. Шестого мы с Эди гуляли по морскому берегу, и я не говорил ни о чем другом, как только о моем друге, потому что на самом деле в то время, кроме него, у меня не было друга одних со мной лет. Эди больше молчала, что случалось с ней редко, но с улыбкой выслушивала все, что я говорил ей.

– Бедняжка Джим! – пробормотала она.

– А если он выдержит экзамен, – сказал я, – то, конечно, он вывесит свою дощечку; будет жить отдельно от отца, а мы потеряем нашу Эди. – Я старался говорить об этом в шутовском и веселом тоне, но слова не шли у меня с языка.

– Бедняжка Джим! – снова повторила она, и при этом слезы навернулись у нее на глаза. – И Джек тоже бедняжка! – прибавила она, всовывая свою руку в мою, когда мы шли с ней рядом. – Ведь и вы когда-то тоже любили меня немножко, не правда ли, Джек? О, какой там на море хорошенький маленький кораблик!

Это был красивый катер приблизительно в тридцать тонн, очень быстрый на ходу, судя по уклону мачт и очертаниям кормы. Он плыл с юга под кливером, фокзейлем и гротом; но в то самое время, как мы смотрели на него, все его белые паруса свернулись подобно тому, как чайка складывает свои крылья, и мы видели, как расплескалась вода от якоря, пущенного прямо под его бушпритом. Он был менее чем на четверть мили от берега – так близко, что я мог разглядеть высокого ростом человека в остроконечной шапочке, который стоял на палубе, осматривал берег в подзорную трубу.

– Что им нужно здесь? – спросила Эди.

– Это богатые англичане из Лондона, – отвечал я, потому что мы, жители пограничных графств, всегда давали такое объяснение тому, чего не могли понять. Мы стояли около часа и смотрели на это красивое судно, а затем, так как солнце садилось за тучу и в вечернем воздухе стало холодно, мы вернулись в Уэст-Инч.

Если вы подойдете к ферме с фасада, то должны пройти через сад, в котором очень мало деревьев и из которого можно выйти через калитку ворот на большую дорогу; это те самые ворота, у которых мы стояли в ту ночь, когда горели сигнальные огни и когда Вальтер Скотт ехал в Эдинбург и проехал мимо нас. Направо от этих ворот, со стороны сада, был грот, устроенный, как говорили, много лет тому назад матерью моего отца. Она устроила его из ноздреватых камней и морских раковин, а в трещинах росли мох и папоротники. И вот когда мы вошли в ворота, то первое, что мне бросилось в глаза, была эта груда камней, и я увидел, что на самой ее вершине засунуто в трещину какое-то письмо. Я пошел вперед, чтобы посмотреть, что это за письмо, но Эди опередила меня и, вытащив его из трещины, сунула себе в карман.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.